

РОБЕРТСОН ДЭВИС

ВПЕРВЫЕ
НА РУССКОМ!

УБИВСТВО И НЕУПОКОЕННЫЕ ДУХИ

Большой роман

Робертсон Дэвис

Убийство и неупокоенные духи

«Азбука-Аттикус»

1991

УДК 821.111
ББК 84(7Кан)-44

Дэвис Р.

Убивство и неупокоенные духи / Р. Дэвис — «Азбука-Аттикус», 1991 — (Большой роман)

ISBN 978-5-389-19899-9

Робертсон Дэвис – крупнейший канадский писатель, мастер сюжетных хитросплетений и загадок, один из лучших рассказчиков англоязычной словесности. Его «Дептфордскую трилогию» («Пятый персонаж», «Мантикора», «Мир чудес») сочли началом «канадского прорыва» в мировой литературе. Он попадал в шорт-лист Букера (с романом «Что в костях заложено» из «Корнишской трилогии»), был удостоен главной канадской литературной награды – Премии генерал-губернатора, под конец жизни чуть было не получил Нобелевскую премию, но, даже навеки оставшись в числе кандидатов, завоевал статус мирового классика. «Печатники находят по опыту, что одно Убивство стоит двух Монстров и не менее трех Неупокоенных Духов, – писал английский сатирик XVII века Сэмюэл Батлер. – Но ежели к Убивству присовокупляются Неупокоенные Духи, никакая другая Повесть с этим не сравнится». И герою данного романа предстоит проверить эту мудрую мысль на собственном опыте: именно неупокоенным духом становится в первых же строках Коннор Гилмартин, редактор отдела культуры в газете «Голос», застав жену в постели с любовником и получив от того (своего подчиненного, театрального критика) дубинкой по голове. И вот некто неведомый уводит душу Коннора сперва «в восемнадцатый век, который по масштабам всей истории человечества был практически вчера», – и на этом не останавливается; и вот уже «фирменная дэвисовская машина времени разворачивает перед нами красочные картины прошлого, исполненные чуда и озорства» (The Los Angeles Times Book Review). Почему же Коннору открываются картины из жизни собственных предков и при чем тут церковь под названием «Товарищество Эммануила Сведенборга, ученого и провидца»?

УДК 821.111
ББК 84(7Кан)-44

ISBN 978-5-389-19899-9

© Дэвис Р., 1991
© Азбука-Аттикус, 1991

Содержание

I	9
(1)	9
(2)	10
(3)	12
(4)	13
(5)	15
(6)	16
(7)	18
(8)	19
(9)	22
(10)	25
(11)	27
(12)	28
II	30
(1)	30
(2)	33
(3)	34
(4)	36
(5)	38
(6)	41
(7)	44
(8)	46
(9)	48
(10)	51
(11)	52
(12)	53
(13)	54
(14)	55
(15)	57
(16)	59
(17)	60
(18)	62
(19)	64
(20)	67
(21)	69
Конец ознакомительного фрагмента.	70

Робертсон Дэвис

Убивство и неупокоенные духи

Посвящается Бренде

Печатники находят по опыту, что одно Убивство стоит двух Монстров и не менее трех Неупокоенных Духов... Ибо Убивство влечет за собой Повешение, к вящему веселию Сброда. Но ежели к Убивству присовокупляются Неупокоенные Духи, никакая другая Повесть с этим не сравнится.

Сэмюэль Батлер (1612–1680)

Robertson Davies
MURDER AND WALKING SPIRITS

Copyright © Robertson Davies, 1991

This edition published by arrangement with Curtis Brown Ltd. and Synopsis Literary Agency
All rights reserved

© Т. П. Боровикова, перевод, 2021

© Д. Н. Никонова, перевод стихов, 2021

© Издание на русском языке. ООО «Издательская Группа „Азбука-Аттикус“», 2021

Издательство ИНОСТРАНКА®

* * *

Робертсон Дэвис – один из величайших писателей современности.
Малькольм Брэдбери

Самый выразительный, эмоционально насыщенный роман мастера.
The Boston Globe

Идеальный баланс привычной интеллектуальной акробатики, тонкого проникновения в сложные семейные связи, глубокого понимания природы власти и финансов.
Sunday Telegraph

Этот роман как будто не написан, а соткан подобно удивительному гобелену – многослойному, насыщенному мельчайшими деталями.
Time Out

Эпическое странствие из патриархального Уэльса в Америку времен Войны за независимость и в современную Канаду. Фирменная дэвисовская машина времени разворачивает перед нами красочные картины прошлого, исполненные чуда и озорства.
The Los Angeles Times Book Review

Работа серьезной выдержки – мудрая, глубокая и остроумная.
Chicago Sun-Times

Верные поклонники Дэвиса немедленно распознают его страсть к фантастическому и языковой экзотике, коллекционерскую одержимость историческими анекдотами, привычную опору на фольклор и народную мудрость.

Observer

Дэвис отменно разбирался в театре; именно эта любовь наделила «Пятый персонаж», «Мир чудес» и «Лиру Орфея» такой гипнотической силой. И в его новом романе театральные эффекты играют не меньшую роль, как в исторических эпизодах, так и в современных.

San Francisco Chronicle

Такой истории о призраках вы еще не читали!

M. Inc.

Все традиционные элементы чуда по имени Робертсон Дэвис налицо: мудрость и горячность, юмор и озорство, непримиримая индивидуальность и героев, и автора. Разница в том, что эта книга читается как гораздо более личная.

Entertainment Weekly

Блистательное пополнение дэвисовского канона. Кудесник слова и воинствующий эрудит не снижает планки.

Hungry Mind Review

Дэвис развлекается (иначе не скажешь) по полной, давая волю своему врожденному драматизму, любви к историческим подробностям и едкой сатире. Он выстраивает собственный вариант загробного мира, в сердце которого живет вопрос: «Учит ли нас смерть хоть чему-нибудь?»

ALA Booklist

Голос Дэвиса узнается сразу, его манера неподражаема. О этот хитрый всеведущий рассказчик с насмешливым прищуром!..

Houston Chronicle

Робертсон Дэвис – один из самых эрудированных, занимательных и во всех отношениях выдающихся авторов нашего времени.

The New York Times Book Review

Первоклассный рассказчик с великолепным чувством комического.

Newsweek

Канадский живой классик и виртуоз пера.

Chicago Tribune Books

Робертсон Дэвис всегда был адептом скорее комического, чем трагического мировоззрения, всегда предпочитал Моцарта Бетховену. Это его сознательный выбор – и до чего же впечатляет результат!

The Milwaukee Journal

Невероятно изобретательно, сюрпризы на каждом шагу.

The Wall Street Journal

Высокая драма, полная гордости, интриг и страсти.

The Philadelphia Inquirer

Кем Данте был для Флоренции, Дэвис стал для провинции Онтарио. Из историй жизни этих людей, с их замахом на покорение небесных высот, он соткал увлекательный вымысел.

Saturday Night

Психологизм для Дэвиса – это всё. Он использует все известные миру архетипы, дабы сделать своих героев объемнее. Фольклорный подтекст необъятен... Причем эта смысловая насыщенность легко воспринимается благодаря лаконичности и точности языка.

Книжное обозрение

Дэвис является настоящим мастером в исконном – и лучшем – значении этого слова.

St. Louis Post-Dispatch

I

Грубый перевод

(1)

Я сроду так не изумлялся, как в тот миг, когда Нюхач выхватил доселе скрытое оружие, ударил меня и я упал.

Откуда я знаю, что умер? Мне показалось, я вернулся в сознание через долю секунды после удара. Я услышал, как Нюхач произносит: «Он мертв! О господи, я его убил!» Моя жена стояла на коленях рядом со мной; она пощупала пульс, прижалась ухом к моей груди и произнесла – с самообладанием, удивительным, если принять во внимание обстоятельства: «Да, ты его убил».

(2)

А где же был я? Я наблюдал эту сцену с близкого расстояния, но не из тела, лежащего на полу. Мое тело – в таком ракурсе, в каком я его никогда не видел при жизни. Неужели я и правда был таким крупным мужчиной? Не великан, но ростом в шесть футов и весьма увесист. Видимо, да, ибо вот он я, лежу, облаченный в плохо поглаженный летний костюм – в отличие от моей жены и Нюхача; они оба в чем мать родила или в чем спрыгнули с кровати – моей кровати, – в которой я их застал.

Величайшая банальность человеческой драмы, но для меня внове: муж застаёт жену в постели с любовником, любовник вскакивает, выхватывает скрытое оружие, наносит мужу сильный удар – по-видимому, слишком сильный – в висок, и муж валится мертвый к его ногам. Я уже сказал, что как никогда в жизни изумился такому повороту событий. Ради всего святого, зачем он это? И неужто больше нельзя вернуть все как было – чего страстно желали и он, и я?

Нюхач совсем пал духом; он попятился, плюхнулся задом на кровать и истерически зарыдал.

– Ой, заткнись, – сердито сказала моя жена. – Некогда сейчас реветь. Помолчи и дай мне подумать.

– О боже! – выл Нюхач. – Бедняга Гил! Я не хотел! Это не я! Я не мог! Что теперь будет? Что со мной сделают?

– Если поймут, то, скорее всего, повесят, – ответила она. – Прекрати шуметь и делай, что я говорю. Во-первых, оденься. Нет, погоди! Сначала вытри эту чертову штуку салфеткой и вставь обратно в футляр. На ней кровь. Потом оденься и иди домой, да позаботься, чтобы тебя никто не видел. У тебя пять минут. Потом я начну звонить в полицию. Шевелись!

– В полицию! – Его испуг был столь карикатурен, что я засмеялся – и понял, что они меня не слышат. Нюхач совершенно утратил мужество.

В отличие от моей жены. Она была мужественна и решительна, и я восхитился ее самообладанием.

– Разумеется, в полицию. Человека убили. Так? Об этом нужно сообщить немедленно. Так? Ты работал в газете и этого не знаешь? Делай, что я говорю, и быстро.

И это любовники? Где же нежность между ними? Потрясение моей жены проявилось только в том, что к ней вернулась старая привычка – то и дело добавлять: «Так?» Мне казалось, я отучил ее от этого, но в грозную минуту привычка возобладала. Моя жена никогда не владела, что называется, хорошим слогом. Она не уделяет достаточно внимания языку.

Нюхач, стая и едва волоча ноги, принялся облачаться – в неуместно франтовские одежды, за которые его вечно высмеивали коллеги-журналисты. Но он повиновался приказам. Первым делом он взял бумажную салфетку и вытер безобразную металлическую дубинку, выскочившую из его элегантно трости. Ручка трости служила рукояткой также и для дубинки. Затем он вкрутил орудие обратно в тайник. Как гордился он этой мерзкой штукой! А ведь я его тысячу раз предупреждал, что люди, носящие при себе оружие, рано или поздно пускают его в ход. Но он считал эту штуку атрибутом крутого мачо, броской приметой маскулинности. Он купил ее за большие деньги в знаменитом магазине в Лондоне. Он утверждал, что это даже лучше, чем трость со шпагой. Но зачем ему вообще нужна была шпага или дубинка? Теперь-то он убедился в моей правоте. Несчастный шпендик! Убийца. Он убил меня.

Я все еще злился, но не мог и удержаться от смеха. Почему он меня ударил? Наверно, потому, что, застав их *in flagrante*, я пошутил, несмотря на свой гнев. «Боже, Эсме, с кем угодно, только не с Нюхачом!» И он в ярости, подпитанной, вероятно, любовным пылом, выхватил дубинку и треснул меня.

Сейчас он оделся, но явно пока не пришел в себя. Он на цыпочках обогнул мое тело, почти загородившее дверь, вошел в гостиную и двинулся прямо к шкафчику с напитками. И достал бутылку коньяка.

– Нет, – сказала моя жена, последовав за ним в гостиную. – Забыл? До конца спектакля – ни капли.

Она засмеялась, а он – нет. Он вечно повторял эту заезженную шутку в адрес пьющих актеров, но в применении к нему самому она, видно, показалась уже не такой смешной. Он поставил бутылку на место.

– Вытри бутылку там, где ты ее трогал, – велела моя жена. – Полиция снимет пальчики.

«Снимет пальчики!» Это значит – будет искать дактилоскопические отпечатки. Как она владеет полицейским жаргоном! Я восхищался ее хладнокровием. У двери Нюхач повернулся, явно выпрашивая поцелуй. Но моей жене было теперь не до поцелуев.

– Поторопись, да смотри, чтобы тебя не видели, – распорядилась она.

Он ушел – самый элегантный убийца, какого только можно себе представить, но лицо искажено болью. Впрочем, кто обратит внимание на театрального критика, чье лицо искажено болью? Это одна из примет его профессии.

(3)

Как только он ушел, моя жена, все еще обнаженная, как летний ветерок, принялась перестилать постель. Наведя порядок, она плюхнулась на кровать, чтобы остался отпечаток только одного тела. Потом слегка прибралась в спальне, вымыла и вытерла два бокала. Быстро, но тщательно оглядела пол; достала щетку для чистки ковров и почистила ковер. Слегка намочила полотенце и протерла все места, которых мог коснуться Нюхач. В методичности ей не откажешь!

Я наблюдал за ней с восхищением и некоторой долей похоти. Обнаженная женщина прелестна, когда лежит в постели, готовая к любви, но насколько она красивее, когда трудится! Как дивен был изгиб ее шеи, когда она искала возможные отпечатки пальцев! Отчего она так прекрасна в этот миг? От возбуждения? От ощущения опасности? Оттого, что произошло убийство? Ибо она стала свидетельницей убийства – возможно, даже пособницей.

А теперь к телефону.

– Полиция? Убийство! Моего мужа убили. Пожалуйста, приезжайте скорей.

И она дала наш адрес. Неплохая актриса. Ее голос впервые дрогнул от волнения. Но когда ее уверили, что полиция обязательно приедет, она не волновалась. Она удивительно быстро стерла макияж, подпорченный утехами с Нюхачом, надела ночную рубашку и халат, причесалась – а потом растрепала волосы, видимо приведя их в приличествующий случаю, по ее мнению, беспорядок. И села за стол – свой письменный стол, так как собиралась писать статью в ожидании, пока полиция позвонит снизу из подъезда.

Ждать ей пришлось недолго.

(4)

Конечно, вы хотите подробностей. Кто все эти люди?

Начнем с Ньюхача. Его зовут Рэндалл Аллард Гоинг, и он настаивает, чтобы это имя проносили полностью – Аллард Гоинг, – поскольку оно древнее и знатное, во всяком случае для Канады. Один из его прапрапрадедов, сэр Элюред Гоинг, занимал высокий пост губернатора в наших краях, когда Канада еще была колонией. В одной старой церкви в городке Ниагара-на-Озере висит мемориальная табличка, прославляющая его достоинства жалобным слогом того времени: «Душа слишком великая, чтобы ее описать, и все же слишком добродетельная, чтобы укрыться от людских взоров... подлинное, не показное Смирение, Серьезность без Мрачности, Бодрость без Легкомыслия...» – и так далее, все в том же хвалебном стиле. Но в исторических трудах мало упоминаний про сэра Элюреда; скорее всего, он был просто очередным ничтожеством, которого Отчизна отправила в колонии, поскольку он вынужден был поступить в службу, но по недостатку связей не мог добиться места на родине. А в захолустном пруду канадского общества того времени он оказался крупной жабой и вошел на равных в круг первопоселенцев из знатных семей, который Ньюхач любит именовать «сквайрархией» и об исчезновении которого жалеет, так как сам хотел бы в нем числиться.

Держится Ньюхач, как он сам считает, с достоинством; его манеры чуть-чуть слишком изысканны для того места в обществе, которое он занимает. Он всегда одет как на парад и даже слегка переигрывает, ибо, несмотря на молодость (если не ошибаюсь, ему тридцать два года), всегда ходит с тростью. В соответствии с выбранной ролью он считает, что ему необходимо всегда иметь при себе оружие, и трость, в которой спрятана сразившая меня дубинка, – его постоянная спутница. Он не крупный мужчина – действительно шпендрик, – но мнит себя д'Артаньяном. Он предпочел бы трость со спрятанной в ней шпагой, но, как сам объясняет немногим посвященным в тайну, дубинка больше подходит в наши времена, когда ограбить могут даже в богоспасаемом Торонто.

Но нельзя счесть Алларда Гоинга пшютом или дураком и на этом основании больше о нем не думать. Он вполне способный журналист и неплохой театральный критик, хотя и не настолько хороший, чтобы это устраивало меня как редактора. Не я нанял его в газету «Голос колоний», очень хорошую газету, где я служу редактором отдела культуры. Точнее, служил. Гоинга я унаследовал от своего предшественника. Я не пробыл на этом посту и трех лет к тому дню, когда Гоинг навеки отправил меня за штат.

Кличка Ньюхач (он ее ненавидит) – плод юмора коллег-журналистов. Ньюхач критикует современные пьесы, в которых сладострастно выискивает влияние известных драматургов, а найдя, использует как палку для битья авторов. Его любимое выражение – он пользуется им слишком часто, но мне не удалось его отучить: «Не пахнет ли этот новый опус мистера Такого-то Пинтером (или Ионеско, или Эйкборном, или даже Чеховым)?» Иными словами, Ньюхач всячески пытается свести мистера Такого-то к наименьшему общему знаменателю. Он совершенно уверен, что ни одна пьеса, особенно если это первая проба пера, а драматург – канадец, не может быть оригинальной и сколько-нибудь значимой; автор наверняка заимствует (точнее, щедро черпает) из работ других драматургов, известных, скорее всего английских. (Ньюхач принадлежит к вымирающей породе канадцев, для которых Англия до сих пор Старая Родина.)

Разумеется, коллеги по «Голосу», записные остряки (журналисты почти все такие), прозвали его Ньюхачом. А ребята из спортивного отдела пошли дальше и мрачно намекают, что он в самом деле *ньюхач*, то есть получает сексуальное удовлетворение, обнюхивая седла велосипедов, на которых ездили девочки-подростки. Ньюхача такая инсинуация особенно бесит,

поскольку сам он считает себя байроническим ловеласом – и не без оснований, как доказывает его успех у моей жены.

Его не любят, но вынужденно терпят из-за его талантов. Шутники из клуба журналистов дважды выдвигали его кандидатуру на звание «Говнюк года», но каждый раз в финальном голосовании его обходил какой-нибудь более серьезный претендент из числа политиков. Точнее будет сказать, что его не любят мужчины. Женщины – другое дело.

Моя жена, последний трофей Нюхача, слишком хороша для него; пока я не застал их, я отказывался верить слухам, которые любезно доносили до моих ушей добрые друзья.

Моя жена тоже работает в «Голосе», но не в моем отделе; она занимается журналистскими расследованиями и пользуется популярностью. Она пишет о женских проблемах в самом широком смысле этого слова, причем с убежденностью и тактом. Ее не назвать огнедышащей феминисткой, но она непоколебима в своем стремлении добиться для женщин всего, на что они имеют право или даже просто претендуют. Она призывает своих сестер к большей политической активности и отстаивает право на аборты. Особенно хорошо у нее выходит сострадание, это мощное средство для умягчения публики. Она упорно борется за права избиваемых жен, детей – жертв инцестуального насилия и разнообразных бездомных женщин. Во всех этих вопросах я на ее стороне и восхищаюсь ею, хоть ее стиль и действует мне на нервы.

Ее зовут Эсме Баррон. От рождения она носила библейское имя Эдна, но еще в школе невзлюбила его и заявила родителям, что теперь ее зовут Эсме. Она знала, что это имя изначально было мужским, но все равно взяла именно его – возможно, то был первый решительный шаг в борьбе за права женщин. Если кто-нибудь решит, что она мужчина, – ну и пусть. Она делает хорошую карьеру как журналист и к моменту моего убийства начала успешно выступать по телевизору. Она не то чтобы красавица – хотя суждение о красоте не точная наука, – но, без сомнения, у нее прекрасная фигура и привлекательное, серьезное лицо. Она, как никто, умеет внушить собеседнику, что он для нее самый важный человек в мире, и умудряется передать это ощущение через телекамеру сотням тысяч зрителей. Каждый из них убежден, что она говорит с ним, и только с ним. При таком даре – удивительно ли, что она хотела продолжать свою карьеру в основном на ТВ и связалась с Нюхачом, поскольку он вроде бы обладал некоторым влиянием в тех кругах? Точно так же ее влекло ко мне, когда казалось, что я могу поспособствовать ее карьере журналистки. Я очень любил Эсме, а если она и любила меня меньше – или с некоторым расчетом, – то я совершенно определенно не первый мужчина, оказавшийся в таком положении.

Впрочем, я не ищу оправданий ее измене. Она могла бы сказать мне, что устала от нашего брака, и, наверно, я бы что-нибудь придумал. Она могла бы даже сказать, что предпочитает мне Алларда Гоинга, и я, отсмеявшись и поняв, что она не шутит, мог бы что-нибудь придумать и на этот случай. Если она хотела завязать интрижку с Нюхачом, я бы, наверно, потерпел какое-то время. Возможно, она не была уверена, что он в самом деле предоставит ей нужные блага, и собиралась поговорить со мной позже, выяснив, насколько он влиятелен и какую за это просит цену. Я совершенно уверен, что он не намеревался на ней жениться; он не мог существовать без череды побед и не мыслил себя в постоянных отношениях. Творец (он относил себя к творцам, ибо что такое критика, если не творчество?) должен быть свободен.

Полагаю, все это звучит ужасно банально и пошло, но нам не судьба жить на более высоком моральном уровне, чем окружающий нас мир. Однако то, что мне было суждено погибнуть от чужой руки, представило ситуацию в совершенно ином, мрачном свете.

(5)

А я, убитый? Меня звали – видимо, и до сих пор зовут – Коннор Гилмартин, и я редактор отдела культуры в газете «Голос». Таким образом, Аллард Гоинг – мой подчиненный; но я предпочитаю звать его коллегой, ибо у меня не в обычаях угнетать журналистов, работающих под моим руководством. Я признаю их право на значительную свободу творчества и даю не столько указания, сколько рекомендации; порой, однако, я совершенно не согласен с тем, что они говорят, и с тем, как они это говорят. Найти хороших – или хотя бы грамотных – журналистов чудовищно трудно, а когда я объясняю, что небрежная, сляпанная на скорую руку статья не так весома, как написанная хорошим стилем, они смеются. «Не забывают, кто нас читает», – говорят они. Я-то как раз не забываю о читателях и убежден, что они вполне достойны хорошо написанных статей. Смотреть на читателей свысока и думать, что они, затаив дыхание, впитывают каждое газетное слово, – едва ли не самый тяжкий из журналистских грехов.

Моя епархия, как это называет Хью Макуэри, включает в себя не только театральных критиков, пишущих о драме, балете, опере и кинематографе, но и специалистов по музыке, живописи, архитектуре, разумеется, редактора по литературной критике и его рецензентов, а также прочих людей в разных других, довольно случайных амплуа – журналистов, ведущих колонки по филателии, астрологии и религии. Под моим широким зонтом укрывается даже обозревательница ресторанов, известная среди нас под кличкой Мадам Утроба. Всем этим людям следовало бы числиться в отделе журналистских расследований, с Эсме, но организация дела в нашей газете местами оставляет желать лучшего. Макуэри, который ведет колонку о религии, – пожалуй, мой лучший друг. Многие находят это странным, ибо Макуэри, суровый шотландец, при первом знакомстве кажется не слишком приятным человеком. Я люблю время от времени заходить к нему в кабинет, чтобы выкурить трубочку, ибо он нераскаянный курильщик. Ярые противники табака, к которым принадлежит и моя жена, убедили директора запретить курение во всех местах общего пользования в нашем здании, но он не рискнул запретить сотрудникам курить и в своих личных кабинетах. Я в своем не курю, ибо Эсме утверждает, что я обязан подавать пример, но, когда мне хочется покурить и поговорить по душам, я убегаю к Хью.

Ну что, пока достаточно про меня? Я все еще витаю в своей квартире и наблюдаю за женой, понятия не имеющей, что я рядом. Я страшно удивился, увидев, что она отперла ключом ящик своего стола, вытащила пачку сигарет и закурила. Она курит в окно и осторожно выдувает дым наружу. Видимо, она потрясена сильнее, чем хочет показать, иначе ни за что не вернулась бы к старой привычке. Раньше она курила по две пачки в день – когда курение было частью ее имиджа светской женщины, ангела общественного сострадания.

(6)

А вот и полицейские. Они явились на вызов с похвальной быстротой. Конечно, излишне объяснять, что происходит далее. Врач осматривает меня, измеряет, что-то старательно записывает. Детективы измеряют, осматривают и старательно записывают. Констебль со стенографической машинкой снимает показания у моей жены. Она не знает точно, когда меня убили; в ее рассказе пропадают несколько минут – кому и знать, как не мне. Понятно, что она не может подробно описать случившееся. Она время от времени как бы случайно выдает свое потрясение и горе – впервые выражая эти чувства так сильно с момента моей безвременной кончины. Тело забирают, и я обнаруживаю, что больше к нему не привязан; я не испытываю никакого желания последовать за носилками, ибо знаю, какие гадости с ним будут проделывать и где будут хранить, пока не выжмут из него всю мыслимую информацию. Я предпочитаю остаться рядом с Эсме, желая знать, как она себя поведет в таком необычном положении.

К своему изумлению, я чувствую голод, но это знакомое ощущение исчезает, как только полицейские заворачивают мое тело в брезент и уносят. Я вспоминаю рассказ знакомого биолога о том, что желудок продолжает переваривать пищу минут сорок пять после смерти; несомненно, тело, которое сейчас несут к стоящему внизу фургону, продолжает выполнять свои функции.

(Как же врачи вывели такой интересный факт о функциях тела *post mortem*? Я знаю от друга, что это открытие совершилось давно, еще в 1887 году, когда два любознательных французских физиолога, Реньяр и Лойе, исследовали тела двух обезглавленных французских преступников прямо в тележке, увозящей трупы от гильотины. Мне представляются Реньяр и Лойе, которые пилат и кромсают тело в тряской телеге, пока лошади тащат ее на кладбище для преступников. Какая преданность науке!)

Когда мое тело уносят, голод пропадает вместе с ним. Я навеки распрощался с собственным желудком. Но мои способности к наблюдению словно бы даже обострились.

Спектакль, что Эсме устроила для полиции, преисполнил меня восторгом. Когда моя жена избрала своим поприщем журналистику, театр много потерял. Возможно, если ее телевизионная карьера удастся, этот талант хотя бы отчасти найдет применение.

Оказалось, что Эсме тонко понимает сценическое действо: она не рыдала и не билась в истерику, но изобразила сильную женщину в трудном положении, полную решимости держаться мужественно. Она ни разу не поставила в неловкое положение молодого констебля, который брал у нее показания, но время от времени ее голос прерывался, и я видел, как сочувствует ей констебль.

Она рассказывала кратко и выразительно, ибо успела порепетировать до приезда полиции. Она лежала в постели, обложившись материалами к статьям в защиту угнетенных, и вдруг услышала какой-то шум на балкончике за окном спальни. Не успела она встать, как высокое раздвижное окно, оно же дверь на балкон, открылось и вошел мужчина. Он удивился, увидев ее в постели. Он пригрозил ей орудием, которое было у него с собой, – чем-то вроде дубинки – и велел не кричать. Нет, у него не было никакого заметного акцента. В этот момент из смежной гостиной вошел я и бросился на этого человека. Он с силой ударил меня и сбежал через балкон, а я тем временем упал на пол. Нет, она не может точно описать преступника. Это был мужчина лет тридцати, в футболке и джинсах. Темноволосый, на лице то ли щетина, то ли редкая борода. (Похож на десять тысяч других, подумал я.) Она бросилась мне на помощь, но я был мертв. Да, она проверила сердцебиение, пульс, но ни того ни другого не было. Тогда она позвонила в полицию.

Другие полицейские в это время пытались понять, как человек мог попасть на балкон в семнадцати этажах над землей: вероятно, перелез из соседней квартиры, как это ни опасно. Но следов не оставил.

Как человек, несколько лет подвизавшийся театральным и кинокритиком, я по достоинству оценил игру Эсме и ее умение выстроить мизансцену. Я видел, что один-два полицейских были очарованы ею и не хотели уходить. Да неужто она – та самая женщина, которую я считал своей женой? Насколько вообще глубоко можно узнать другого человека?

Когда полицейские ушли, я видел, как Эсме налила себе чего покрепче, выпила неразбавленным, вернулась в постель и, поскольку спать ей еще не хотелось, начала читать отчеты по статистике семейного насилия в Торонто. Впрочем, не думаю, что ей удавалось вникать в прочитанное. Через час или около того она заснула, и со временем у нее на губах образовалась пленка цвета пчелиного крыла.

(7)

А что же Рэндал Аллард Гоинг? К моей радости, оказалось, что мне ничего не стоит перенестись к нему в квартиру. Я не летел и не плыл по воздуху; я просто пожелал быть рядом со своим убийцей – и миг очутился у него дома. И обнаружил его в ужасном состоянии: он попытался успокоить нервы большой дозой виски, но лишь довел себя до тошноты; он блевал, пока было чем, а теперь лежал в постели и рыдал. Это было не презентабельное, драматичное рыдание, а раздирающие всхлипы, словно ему не хватало кислорода.

Меня его отчаяние не тронуло. Он меня убил, и я не видел резона его прощать. Никакого. Я решил – насколько позволит мое состояние, возможности которого были мне пока неизвестны, – преследовать Гоинга, мстить ему любыми доступными способами. Я не знал, какие способы мне доступны, – мне еще предстояло это выяснить, но я был полон решимости.

(8)

Проводы меня в последний путь оказались цирком, какого не ожидал даже я сам. Газетчики заботятся о своих, а мое убийство к тому же заняло все передние полосы. На видном месте красовалась невразумительная клякса, якобы мой портрет. Коллеги называли меня перwokлассным журналистом. (Что ж, так оно и было.) Блестящая карьера жестоко прервана. (Интересно, была бы моя последующая карьера блестящей? И что в данном случае понимать под словом «блестящая»? Но авторов некрологов такие мелочи не смущают.) Я был женат на Эсме Баррон, известной и многими любимой колумнистке, пишущей о женском вопросе, защитнице бедных и угнетенных, обладательнице умеренных, но твердых мнений. Детей у нас не было (в некрологе умалчивалось, что именно Эсме их не захотела, хотя автор некролога – несомненно, им был мой друг Хью Макуэри – это знал). Некролог был написан трезво и в основном придерживался фактов. А вот похороны перенесли нас в царство комедии, даже отчасти – фантасмагории.

Меня отпевали в церкви. Эсме с Макуэри сильно повздорили из-за этого, ибо она не желала иметь с церковью ничего общего, но Хью настаивал, что я жил в вере – он любил это выражение и слегка злоупотреблял им – и должен быть погребен как верующий. Итак, мою брентную оболочку перенесли в небольшую англиканскую церковь рядом с крематорием. В церковь битком набились мои коллеги из прессы, которые, как большинство журналистов, не стеснялись проявить сильные чувства. Публика любит представлять себе журналистов прожженными, циничными созданиями, зачерствевшими от постоянного созерцания преступности, политических махинаций и прочих нарушений общественного спокойствия, ежедневно проходящих у них перед глазами. По моему опыту, однако, журналисты – самые сентиментальные люди на свете и уступают в этом только полицейским. И потому на моих похоронах сидели рыдающие мужчины и мрачные женщины (ибо нынче два пола поменялись ролями, и мужчины могут давать волю слезам, а вот женщинам такой слабости не прощают). Священник вел древний обряд отпевания – как бывший театральный критик, я подумал, что он декламирует неплохо, но я мог бы дать ему пару советов по поводу нажима на отдельные слова и ценности пауз.

Наверно, нет ничего удивительного в том, что человек растроган собственным погребением, но одной вещи, которой Макуэри почтил мою память, я не ожидал. Его назначили распоряжаться похоронами от лица газеты. Кому же еще было этим заниматься, как не ему, моему лучшему другу и специалисту по религиозным делам? Эсме была только рада перепоручить все детали ему, хоть он и советовался с ней для проформы по всем вопросам. Газета не поскупилась. Посетителям раздали качественно отпечатанные программки погребальной службы. Меня очень тронуло, что единственный прозвучавший гимн оказался моим любимым, а также любимым гимном Хьюго. Авторства Джона Беньяна, из «Пути паломника», причем Хью настоял на оригинальном тексте Беньяна, а не на беззубой современной версии. Мои коллеги не ахти какие певцы, но они старались как могли, и мне было приятно услышать последний куплет:

Ни лютый враг, ни злобный дух
Не приведут его в испуг.
Он знает, что на склоне лет
Иную жизнь обретет¹.

¹ Здесь и далее, если не оговорено иное, перевод стихов выполнен Д. Никоновой.

Я возрадовался, хотя думаю, вострепетал бы, знай я, насколько пророческими были эти слова.

Я воспринял этот гимн как весьма высокую похвалу.

И с устремлением благим
Идет по жизни пилигрим...

Да, я решил, что теперь могу отринуть притворную канадскую скромность, которая часто опускается до фальшивой глуповатой простоты, и заявить: в этом гимне говорится о цели моей жизни – во всяком случае, той, какую я видел, когда мне удавалось собраться и обнаружить в своей жизни цель. Я хотел, чтобы признали мои заслуги, признали, что я упорно шел по пути к... но к чему? К чему именно я шел всю жизнь? Может быть, я узнаю это сейчас?

Гимн придал благородства всей погребальной службе. А фарсовую составляющую обеспечил издатель «Голоса», который говорил надгробную речь. Он меня не знал; вероятно, мы несколько раз пожимали друг другу руки на корпоративных сборищах. Но главный редактор и управляющий заверили его, что он обязан явиться на похороны и сделать сильное заявление от лица газеты: в последнее время случилось несколько подряд нападений на журналистов – им разбивали камеры, их толкали, в один чувствительный газетный нос ударили кулаком. А вот теперь – убийство. Почему-то среди журналистов считается, что с представителями прессы, так же как со священниками и с беременными женщинами, надо обращаться особо бережно, как бы они сами ни провоцировали насилие в свой адрес. А в высшем руководстве «Голоса» распространилось убеждение, что убийство как-то связано с моей профессией. Меня убил не какой-нибудь трусливый отморозок, скорее всего еще и наркоман; наверняка это был поэт или актер, отомстивший за слишком суровую рецензию в разделе «Культура» нашей газеты. Таким чудовищным преступлениям следовало положить конец, и именно издатель – как главная фигура в газетной иерархии, а также владелец капиталов – обязан был поднять голос в защиту людей нашей профессии.

Однако наш издатель определенно не оратор. Это маленький, лысый как коленка, непримечательный человек; он редко светится на публике, хотя благодаря деньгам обладает огромной властью. Текст надгробной речи за него составил главный редактор, которому немного помог управляющий – в той части, где яростно осуждалось такое вопиюще безобразное поведение, как убийство журналистов. Конечно, это покушение на свободу слова, а также на свободу прессы – чрезмерно раздутую концепцию, о которой много трубят и которую совершенно неправильно понимают. В шуме, который поднялся вокруг моей смерти, все начисто забыли, что Эсме сказала полиции: вломившийся в квартиру человек был определенно растерян и испуган: явный преступник, а не человек искусства, пылающий жаждой мести.

Надгробную речь напечатали для издателя большими буквами, но читал он ее плохо. Особенно один абзац, автором которого был, несомненно, Макуэри: там говорилось о моих интеллектуальных интересах, которые, оказывается, придавали особую глубину всей работе газетного отдела. Это было благородно, поскольку газеты традиционно боятся прослыть высококобыми, чтобы не отпугнуть читателей. Но раз я уже умер, малая толика учености не могла повредить – главное, чтобы мой преемник не набрался этих опасных идей. В надгробной речи говорилось и о моем увлечении метафизикой, что тоже было преподнесено как научный интерес. Никто, кроме Макуэри, не знал, что меня интересует метафизика и что я лишь растерянный дилетант в этой туманной области. Но Макуэри с лучшими намерениями упомянул о наших долгих беседах у него в кабинете, часто переходивших в недостойную перепалку. Вот Макуэри и впрямь можно назвать метафизиком, ибо он размышляет об этих материях всю жизнь и был моим наставником (хотя в надгробной речи утверждалось, что мы беседовали

на равной ноге). Мне польстили добрые слова Хью, и я даже поверил, что при жизни был несколько умнее, чем считал сам. Я всегда полагал, что в вопросах духа любознателен, но не хватаю звезд с неба.

Именно абзац, написанный Макуэри, оказался гибельным для издателя. Там попадались слова, которых он не знал и не удосужился поручить секретарше найти их в словаре. Ему следовало заранее выяснить, как они произносятся. Судя по его корчам, он и не заглянул в текст речи до того, как пришла пора ее читать. Так он оказался на этих похоронах шутом; даже сотрудники из отделов спорта и рекламы, люди весьма далекие от метафизики, оставили рыдания и мрачный вид и едва удерживались от смеха, пока издатель мучительно продирался через текст, якобы выражая свое личное уважение к усопшему сотруднику.

Итак, мои похороны могли бы кончиться клоунадой, если бы Эсме не исправила это изящным штрихом – всем присутствующим он показался трогательным жестом. Трогательным – очень точное слово, ибо, когда священник произносил молитву на предание тела земле, Эсме выступила из своего ряда и нежно, будто лаская, коснулась ладонью гроба примерно там, где должно было находиться мое лицо. Затем она вернулась на место, явным усилием воли совладав со своими чувствами. Вспышка! Бдительный фотограф поймал этот момент для завтрашнего выпуска «Голоса». «Прощание вдовы».

В этот миг я услышал, как всхлипнула моя мать. Они с отцом все это время держали себя в руках и хранили достоинство; они не улыбались, когда издатель сел в лужу. Но театральный номер Эсме оказался выше их сил. Бедняжки, подумал я, они стареют. Раньше я этого не замечал. И конечно, они так и не полюбили Эсме, хотя были с ней вежливы. Из всех присутствующих мои родители сильнее всех горевали и меньше всего это показывали.

Приглушенно жужжал транспортер, и мой гроб медленно поехал в дверцы, за которыми, видимо, располагалась печь или преддверие печи. Управляющий газетой подтолкнул локтем издателя, и тот взял Эсме под руку и повел ее прочь из часовни.

Может, я слишком цинично воспринял последнее прощание скорбящей жены? Вероятно, как часто бывает в жизни, я был одновременно прав и не прав. Я убежден, когда-то она меня любила, просто не выражала свою любовь напоказ, в особенности на публике. Она шла к выходу уверенно, грациозно и скорбно, опираясь на руку издателя, – нелегкая задача сама по себе, так как он был много ниже ростом, – даже не оглянувшись на скамью в третьем ряду, где Рэндалл Аллард Гоинг вел себя как полный осел.

У него сдали нервы, и теперь он шумно рыдал. Две женщины-коллеги помогли ему подняться – точнее, взяли в захват с обеих сторон и конвоировали к двери. Одной из женщин пришлось вернуться за знаменитой тростью, без которой он не появлялся на публике, и силой впихнуть ему в руку. Орудие убийства. Теперь он до конца жизни не сможет от него избавиться.

Втиснувшись в погребальную процессию – прямо за Рэндалом, – я хохотал как безумный. Я не хотел пропустить ни одной слезы, ни одного рыдания. Теперь я вольный дух; я мог отправиться куда захочу. У меня не было желания сопровождать свое тело за дверь крематория; передо мной разворачивался эпизод из нескончаемой комедии жизни, и я не мог его пропустить.

(9)

Теперь, когда суматоха похорон и расследования утихла, у меня есть время оценить себя и свое положение. Немедленно возникает философский, метафизический, а может быть, всего лишь физиологический вопрос: о каком «себе» я говорю? И что значит «теперь у меня есть время»? Ощущение времени исчезло; для меня уже все едино, что день, что ночь; но о некоторых периодах – длинных, насколько я могу судить – я не имею никаких воспоминаний. Я бесплотен. Тщетно смотрелся я в зеркала своей квартиры, ища отражение: его не было. Телесных желаний больше нет, но я испытываю острые чувства; нет ни голода, ни сонливости, но есть нарастающий гнев, который отчасти смягчается смехом, когда я наблюдаю за муками своего убийцы.

Я еще не знаю, на что способен, ибо я новичок в загробной жизни и пока не выяснил, что в моих силах. Могу ли я преследовать Гоинга как призрак? Раньше я никогда не задумывался о существовании призраков и не особенно любил истории о них. Конечно, такой дух, как я, не может стать обычным примитивным привидением – являться в дверном проеме или сидеть у камина, пугая входящих в комнату жильцов. Намеченная мною жертва живет в квартире, там нет камина; и разумеется, я не стану как дурак сидеть возле термостата. Нет, обыкновенный банальный призрак – это не для меня.

Конечно, бывают еще привидения в духе Генри Джеймса – те, что проявляются в виде влияния, вторжения в чужой ум; они видны только людям в таком состоянии духа, что те не могут объективно судить об увиденном. Вот это я могу попробовать; или, скажу скромнее, на это я могу надеяться. Я пока не могу определенно утверждать, что собираюсь делать. О, я бы что угодно отдал за час разговора с Хью Макуэри!

Макуэри обязательно помог бы или, во всяком случае, высказал бы какое-нибудь мнение, весьма авторитетное. Хью – странная птица; в молодости он был рукоположен в пресвитерианские священники. Духовный сан он принял по желанию родителей, но не вынес такой жизни и сбежал в журналисты. Он писал на религиозные темы и посвятил себя изучению метафизики. Но даже как метафизик он отставал от своих современников. Он попросту не желал шагать в ногу со временем: его взгляды относились к докантианской эпохе. Возраст идеи – будь ей три сотни лет или три тысячи – не был для Хью причиной ее отвергнуть. В этих вещах, говорил он, нет такого понятия, как движение вперед; путь всегда лежит вглубь, а там время измеряется по другим часам. Но путешествие вглубь человек всегда совершает один, а потому – насколько можно верить тем, кто его совершил? Индивидуален ли этот опыт, или он хотя бы частично общий для всех?

Во время очередной нашей беседы у него в офисе, когда я как раз спросил его об этом, он сказал:

– Я отвечу обоснованным «да», вслед за которым идет осмотрительное «нет». В этих вопросах требуется расположение мысли, которое я называю шекспировским. Иными словами, блаженная доверчивость ко всему, обузданная живым скептицизмом по поводу всего.

– Но это же ничего не дает, – удивился я.

– Еще как дает. Это позволяет быть все время начеку и открытым любой возможности. Это один из аспектов золотой середины, который мало кто понимает. Ты спрашивал, что происходит после смерти. Можешь верить во что угодно, но при этом ты с хорошей вероятностью окажешься не прав, ибо доподлинно никто ничего не знает.

– Да, но как же все рассказы о том, что происходит во время клинической смерти? Об этом сейчас много пишут. Люди, у которых была констатирована смерть и которых потом воскресили дефибрилятором или чем-нибудь там еще. Они утверждают, что стояли рядом с соб-

ственным телом и видели, как над ним, предположительно мертвым, трудятся врачи. Этих рассказов сейчас слишком много, чтобы от них можно было отмахнуться.

– А, ну да, но... все эти рассказчики отсутствуют в теле не больше нескольких минут. А если, допустим, дефибрилятор не поможет и они не вернутся?

– Многие из них говорят, что и не хотели возвращаться. Им было приятно находиться, где они там находились, и не хотелось возвращаться ко всяческим бытовым дразгам и обыденному бремени жизни.

– Но они тем не менее вернулись, иначе ты не знал бы, что с ними происходило по ту сторону. А что же те, которые не вернулись? Как ты думаешь, что случилось с ними?

– Никто не знает.

– Но многие утверждают, что знают. Разнообразные восточные мыслители много рассуждали на эту тему, и поверь мне, то, что они рассказывают, совсем не похоже на простенький христианский рай. Очень важный момент – то, что между смертью и последующим возрождением лежит период ожидания. Многие из этих мыслителей придавали огромное значение перевоплощениям.

– Переселению душ?

– В каком-то смысле – да, но все сложнее. Мы карабкаемся вверх и вниз по великой лестнице Природы и, когда наконец дорастаем до человека, можем стать одной из многих разновидностей людей: человеком-свиньей, человеком-собакой, человеком-обезьяной. Все это происходит на пути к становлению Буддой. Понимаешь, это великая цель, с ней связаны огромные привилегии. Чтобы в последний раз воплотиться на земле в виде человека, Господь Будда старательно обеспечил себе рождение в правильный момент, в правильном народе, в подходящей семье, у достойной матери. Он не стал полагаться на случай. Довольно капризен для бога, а?

– А я думал, ты не любишь, когда западная религиозная мысль усваивает идеи восточных религий?

– Я к этому отношусь с осторожностью; но нельзя сказать, что я этого не люблю. Я не люблю попыток превратить западных людей в восточных. Если из человека не вышло христианина, хороший буддист из него тоже вряд ли получится. Решая, во что люди могут поверить всерьез, нельзя пренебрегать фактами географии и расы. Но тебе не обязательно доверяться восточной мысли: Сведенборг твердо верил, что новой жизни предшествует период ожидания, а уж он был западным дальше некуда.

– Я ничего не знаю про Сведенборга.

– Слишком многие о нем ничего не знают. Великий мыслитель, но сложный для постижения. Прекрасный ученый, который потом стал, что называется, мистиком, поскольку рассуждал о вещах невидимых и недоказуемых, которые, однако, человек с подходящим складом ума может обдумывать. Например, такой человек, как он. Если ты ничего не знаешь о Сведенборге, то, надеюсь, слышал хотя бы про Уильяма Блейка? Да? Хорошо. Не возмущайся; в нынешние времена упадка не приходится рассчитывать на эрудицию слушателей. Я полагаю, ты прочитал все его стихи, но пропустил книги пророчеств.

– Преподаватель сказал, что их не будет на экзамене.

– Ну да, слишком трудное чтение для мелких умов. Они потрясающие. Ощущение такое, словно тонешь в овсянке, которая тебя при этом весьма калорийно питает. Короче, и Сведенборг, и, как я полагаю, Блейк усиленно закивали бы, доведись им увидеть описание бардо.

– Бардо?

– Это тибетский термин. Некое состояние бытия. Пугает до потери рассудка, местами. Например, встреча с Восемью Гневными Богинями. Будто проходишь голым через очень длинную механическую автомойку. Тьма, устрашающий шум, и тебя все время бьют, шлепают, окунают сверху и снизу водой, мурыжат и оскорбляют действием, и наконец ты являешься на

свет – очищенный, смиренный и готовый к возрождению в той форме, которой на этот раз заслуживаешь.

– Я лучше пропущу это самое бардо, – сказал я.

– Если получится. В любом случае ты кельт, как и я. Если нам на том свете уготовано чистилище, я очень надеюсь повстречать там Арауна, Бригиту, Арианрод или Гвенн Тейрброн.

– Женские божества?

– Я думаю, при встрече с кельтским женским божеством у меня больше шансов, чем с Восемью Гневными. И какие у нас основания полагать, что Предельная Реальность – не женского пола?

– Нас с тобой растили в твердой уверенности, что Бог – мужчина.

– Именно поэтому в том числе я снял рясу и бежал с амвона. Провалились они, эти мужские боги, законодатели и судьи. Бесконечно уверенные в своей правоте. К ним с шекспировским расположением ума не подойдешь. Нет-нет, мальчик мой: ввысь нас ведет именно Вечная Женственность, как весьма удачно выразился Гёте, разменяв девятый десяток.

– О боже, Гёте! Я так и знал, что ты до него дойдешь.

– Да, Гёте. Он стоит целого полка твоих богословов.

Спорить с Хью было бесполезно. Когда он так бойко пыхтел трубкой, в нем бушевал кельтский дух. Если у Хью есть небесный покровитель – мужского пола – это, несомненно, Огма, кельтский бог красноречия. Кельты считали золотом слово, а не молчание.

Спорить с таким человеком безнадежно, ибо он умело орудует иррациональным и не относящимся к делу, что, надо сказать, придает великолепный размах его богословским построениям: в них любое убеждение ценно и любое – абсурдно. Когда тебе напоминают о мелкотравчатости твоего собственного интеллекта перед лицом великих тайн, это действует освежающе.

(10)

Но где же эти великие тайны? Я, похоже, завис среди небытия, и ничто не предвещает дальнейшего развития. Несомненно, у меня есть чувства. Возможно, точнее будет сказать – эмоции. Я забавляюсь и наслаждаюсь созерцанием той части земной жизни, которую могу наблюдать и из которой меня так безвременно вырвали. Эсме уже написала пару неплохих статей, в которых повествует, как справляется с тяжелой утратой. Я знаю, что теперь она подумывает разработать тему глубже и создать пособие для вдов. Что я по этому поводу чувствую? Я не то чтобы охладел к Эсме, но ее манера бодро извлекать из всего прибыль начинает несколько раздражать. Что касается Алларда Гоинга, мне смешно смотреть, как он страдает и как изобретает казуистические оправдания, убеждая себя, что он вовсе не убийца, но несчастная жертва обстоятельств. Однако я его презираю, ненавижу и полон решимости навредить ему как следует, если получится.

Он украл у меня самое невосполнимое. Он отобрал у меня лет тридцать жизни. Когда я был жив, то ни разу не задумывался об оставшихся мне годах с такой жадностью собственника. Но теперь меня преследует воспоминание о нравоучительной картинке, которую Хью Макуэри держит у себя в кабинете.

Она висит у него над столом. Сверху броская надпись по-французски: «Ступени возраста». Я полагаю, в домах французского простонародья эта картинка была популярна. А вот в Новом Свете ее не часто увидишь.

Это гравюра, она изображает жизненный путь человека. По горбтому мостику марширует человечество, представленное парой – мужчиной и женщиной. Слева, у входа на мост, лежат в колыбели два младенца, плотно спеленутые, с невинными беспечными улыбками. Вверх по дуге моста взбираются Детство, Юность, Зрелость; миновав самую высокую точку, они начинают спускаться, уже являя собой Угасание, Дряхлость, и наконец мы видим кровать с парой лежащих в ней столетних стариков – вновь уподобившихся младенцам, но отвратительно морщинистых и беззубых. Рядом надпись: «Возраст слабоумия». Они вернулись к исходному состоянию, но впереди у них уже не лежит путешествие, сулящее надежды.

Судя по одежде изображенных людей, эта картинка или схема относится к тридцатым годам девятнадцатого века; она раскрашена в кричащие цвета, поскольку предназначалась для народа, а не для утонченных ценителей. На ней представлен также возможный финал путешествия: для праведников – привычный христианский рай, где их встречает с распростертыми объятиями улыбающийся бородатый Создатель, а для грешников – ад с рогастыми и хвостатыми мучителями; эти две перспективы подписаны: «Высший суд». Вероятно, гравюру полагалось вешать над кроватью; возможно, рядом с полным отпущением грехов, купленным за солидные деньги.

Я порой забавлялся, размещая своих коллег из редакции в точках пути соответственно их возрасту и размышляя об их конечной судьбе. Хью очень не любил подобного легкомыслия.

– Очень грубо, – говорил он. – Но все же это занятие имеет свою ценность. Если в твоём грешном теле найдется хоть грамм серьезности, смотри на эту картину и размышляй о ней всерьез.

– Но я и размышляю серьезно, – отвечал я. – Смотри, вот Нюхач. Видишь, как галантно он ведет под ручку красивую женщину. Несомненно, он находится в «Возрасте расцвета».

– Да-да. А что за женщина с ним? Разумеется, это не его жена. Без сомнения, это чужая жена. Красивая, цветущая женщина. Может быть, она – жена человека на следующей стадии, в «Возрасте зрелости». Весьма импозантный мужчина, верно? Сколько, ты говоришь, тебе лет, Гил?

– Сорок четыре.

– Да-да, совершенно точно, зрелость. Мужчина на картинке выглядит слегка простоватым для зрелости – но, возможно, это из-за грубых штрихов рисунка. Я бы сказал, что он чересчур доволен собой.

– Это потому, что ты относишься к следующей градации: «Возрасту благоразумия». И завидуешь всем, кто еще не сравнялся с тобой.

Хью больше не возвращался к этому разговору, но теперь я знаю: он пытался намекнуть, что Нюхача слишком часто видят в обществе Эсме. Он постоянно водил ее на пьесы, которые посещал как театральный критик. У меня из-за работы оставалось меньше свободного времени на театр, чем хотелось бы. И я не придавал значения тому, что Эсме и Нюхач проводят вечера вместе.

Простоват. Чересчур доволен собой. Только теперь до меня дошло.

И вот я изгнан из жизни – несомненно, прежде срока. Нюхач украл у меня, по всей вероятности, лет тридцать или сорок. Я никогда не был восторженным созданием, восклицаящим: «Как страстно я люблю жизнь!», но, без сомнения, глубоко, хоть и несколько банально, ею наслаждался и не хотел потерять ни единого дня из отпущенных мне. Глупец! Мою жизнь и мой брак разрушил Гоинг циничным и пошлым вторжением, и надо сказать, что Эсме здесь тоже не безвинна.

Глупец! И теперь, когда я вижу, что вел себя глупо, моя ненависть к Гоингу от этого несколько не убывает. Честно сказать, только растет.

(11)

Мы с Хью часто говорили о браке, и я поддразнивал его за холостячество. Он отвечал:

– Если человек претендует на звание философа, как со всем смирением претендую я, он знает, что философы не женятся; а если философ женат, то его жена – тиранка или рабыня. Я не хочу поработать женщину, ибо это недостойно просвещенного мыслителя, а жить с тиранкой определенно не желаю. Считается, что в наше время на брак смотрят цинично. Популярные пророки предвещают этому общественному институту скорую гибель. Но я слишком сильно уважаю брак, чтобы относиться к нему легкомысленно. Кроме того, я страшусь, что моя собственная Женщина меня предаст.

– Какая еще женщина? Ты что, прячешь от нас какую-нибудь шотландскую красотку? Ну-ка, рассказывай. Что это за дама сердца?

– Нет-нет, ты не понял. Слушай. В каждой супружеской паре не два, а четыре человека. Двое стоят у алтаря, или перед клерком муниципалитета, или кто там скрепляет их брак; но с ними незримо присутствуют еще двое, столь же или, возможно, даже более важные. Это Женщина, скрытая в Мужчине, и Мужчина, скрытый в Женщине. Таков брачный квартет, и тот, кто его не понимает, глуповат или напрашивается на неприятности.

– Это что, опять какая-нибудь восточная философия?

– Нет, ничего общего. Это не фантазия, а физиология. Даже ты не можешь не знать, что у любого мужчины есть запас женских генов, а у любой женщины – та или иная доля мужских, возможно – весьма существенная. Разве не обоснованно – предположить, что эти гены, численно уступающие, но не обязательно менее важные, рано или поздно заявят о себе?

– Да ладно, Хью! Ты хватил через край.

– Ничего подобного. Ты проницательный человек. Разве не бывает у тебя моментов, когда ты, как никогда, хорошо понимаешь Эсме или необыкновенно терпелив с нею? А может, во время ссоры ведешь себя капельку истерично и сварливо, то есть проявляешь полную противоположность мудрости и милосердию? А теперь посмотрим на Эсме и на ее внушительную карьеру. Ты в самом деле думаешь, что она никогда не прибегает к силам, поддерживающим ее в трудный час и помогающим переносить то, что без них она бы не вынесла? Или – я не хочу допытываться о подробностях вашего брака, но разве она не бывает временами необычно груба? И не пытается ли она порой взять над тобой верх? Подумай, подумай хорошенько. Если за все время своего брака ты так и не догадался о существовании этих двоих, живущих вместе с вами – с вами и в вас... нет, я не готов поверить, что ваш брак был настолько примитивен.

– А что ты имел виду, говоря, что боишься собственной Женщины?

– У меня в душе таится мягкость, и это может превратить меня в раба, если обстоятельства сложатся определенным образом. Или в огрызающегося, безобразного дьявола, чей дом – Ад. Так ведет себя женское чувство в мужчине, когда оно испорчено. Я еще не встречал женщины, согласной за меня выйти, которую я мог бы допустить в один дом и в одну кровать со своей собственной Женщиной.

– Тебя послушать, так брак еще более трудная штука, чем пугают семейные консультанты.

– Конечно трудная, дятел ты этакий! Слишком многие доверяются любви, а она – худший из наставников. Брак – игра не для простаков. Любовь – лишь джокер в ее колоде.

(12)

Стоит ли вспоминать сейчас эти разговоры с Хью? Да, стоит, как ни мучительно мне думать о своем тогдашнем легкомысленном к ним отношении. Я видел в них лишь средство развлечься, передохнуть от бесчисленных текстов, принадлежащих перу критиков и комментаторов, большинство из которых, как мне казалось, пишут не то и не о том.

Я очень многое помню из этих разговоров. Сейчас – даже яснее, чем при жизни. Теперь мне вспоминается кое-что, выкопанное Хью в поглощаемых им бесконечных объемах литературы о духовных материях и жизни после смерти. Он сказал, что в Бхагавадгите определенно утверждается: после смерти человек принимает состояние, о котором размышлял в момент кончины, и потому умирающим следует тщательно контролировать свои мысли. Как обычно, Хью рассуждал пространно и не слишком внятно. Он заговорил о последних словах великих людей:

– Как звали того англичанина, государственного мужа, который на смертном одре воскликнул: «Моя страна! Как же я оставляю свою страну!»? Кто это был – Питт? Или Бэрк? Но кто-то еще утверждает, что он произнес: «Я бы сейчас съел пирог с телятиной от Беллами». Какова же его загробная судьба? Восхитительные размышления об истории Англии или вечное пожирание пирогов с телятиной? Если Бхагавадгита не врет, следует быть очень осторожным в предсмертных словах и даже мыслях.

Моими последними словами было удивленное и насмешливое восклицание, обращенное к жене: «Боже, Эсме, с кем угодно, только не с Нюхачом!» Не слишком содержательно. Но за миг до того я обдумывал проблему, связанную с газетной работой: в Торонто скоро начнется масштабный и престижный кинофестиваль, а наш лучший кинокритик уволился месяц назад, перейдя в какой-то университет читать лекции будущим киношникам. (Помогай бог этим несчастным студентам: наш бывший сотрудник знал очень мало о чем бы то ни было, а его рецензии на фильмы содержали в основном выплеск эмоций.) Кто же будет писать о самых важных фильмах из тех, что покажут на фестивале? Этим решил заняться Нюхач, о чем и уведомил меня весьма оскорбительным тоном, будто напоминая забывчивому ребенку о некоей само собой разумеющейся обязанности. Делая последний шаг через порог спальни, я как раз решил дать добро Нюхачу: не потому, что доверял его вкусам в кинематографии, но потому, что не видел лучшего выхода из создавшегося положения. Но я твердо решил посмотреть эти фильмы и сам.

Обычная редакторская проблема. Меня поставили во главе отдела культуры «Голоса», потому что я был хорошим критиком. Точнее, хорошим с точки зрения читателей, ибо им нравилось то, что я писал. Это традиционная ошибка управленцев: если человек делает свою работу хорошо, надо снять его с этой работы и назначить руководителем, к чему у него нет ни желания, ни способностей. Я всегда любил все относящееся к театру – отдыхал душой на представлениях и писал о них с огромным удовольствием. Да, драматический театр; несомненно, опера; даже телевидению нашлось место в моем сердце. Но кино я просто обожал, хоть и не по тем мотивам, которые движут большинством кинокритиков: меня не слишком интересовали технические подробности съемок, хотя я много о них знал; я никогда не считал киноактеров настоящими актерами, поскольку работа в кино не задействует актерский талант в полной мере – киноактера создают режиссеры и кинооператоры. Я очень бережно относился к сценаристам, зная, как мало ценят этих несчастных в мире кино. Но подлинно восхищался редкими, по-настоящему великими режиссерами: они – художники, работающие с особо неподатливыми изобразительными средствами. И когда у них случалась творческая удача, она дарила мне потрясающие сны. Они отражали не грубую реальность, худосочную комедию или трагедию, измышленную глупцом, но нечто лежащее за пределами наблюдаемого обыденного мира,

мира ежедневных газет и клубных сплетен. Эти сны повествовали о важном – не рубленым слогом официальных документов, но языком загадок, двусмысленностей и недомолвок.

Входя в кинотеатр, чтобы увидеть творение одного из великих, я чувствовал, что полутьма и гулкий зрительный зал говорят о мире фантазмагорий, о пещере снов; я знал, что все это – часть моей жизни, но такая, что коснуться ее можно только во сне или в грезах наяву. А кино могло открыть мне дверь туда; поэтому оно играло в моей жизни важную роль, которую я никогда не пытался определить точно – опасаясь, что слишком четкое определение повредит тонкую материю снов².

Поэтому я, конечно же, хотел бы сам посещать фестиваль и писать рецензии о замечательных фильмах, извлеченных из богатейших архивов, – их показ составляет немаловажную часть программы. Увы! Как редактор я обязан был играть по правилам. Нельзя все лучшие задания забирать себе; но в данном случае отсутствие штатного кинокритика сильно искушало меня так и поступить. Придется дать волю Нюхачу, чтоб он провалился!

Но я все равно побываю на фестивале. Обязательно побываю. В памяти всплывает любимая цитата моего отца:

Душа, на сцену вдумчиво гляди,
Дождись финала... тум-тум-тум-тум-тум...
Здесь каждый новый день... тум-тум-тум-тум...
Тум-тум-тум-тум... и что-то там еще³.

Я не помню ее дословно, но обещаю терпеливо дожидаться финала.

Предположим, что Макуэри был прав. Точнее, предположим, что Бхагавадгита говорит правду. Неужели мне суждено провести вечность на бесконечном киносеансе, рядом с Нюхачом, вынюхивающим «влияния»?

Вот это в самом деле будет ад – или, по крайней мере, чистилище страшней любого из тех, о которых рассуждал Макуэри. Вечность за просмотром обожаемых фильмов – вместе с человеком, который, насколько я знаю, воспринимает их мелко, эгоистично и глупо? Более того, вместе с человеком, который меня убил. Возможно ли? Заслужил ли я это?

Меня грубо перевели (в прямом смысле этого слова) в иную плоскость существования, в обход нормальной смерти. Смогу ли я вынести то, что меня ждет? Но у меня нет выбора. Перевод, сделанный с нарушением прав, всегда подозрителен по качеству.

² Ср.: «Из той же мы материи, что сны» (У. Шекспир. Буря. Акт IV, сц. 1. Перев. О. Сороки). – *Здесь и далее, если не оговорено иное, примечания переводчика.*

³ Эпиграмма английского поэта Фрэнсиса Куорлза (1592–1644). Использован перевод Дэми Виоланте с некоторыми изменениями.

II Восставший Каин

(1)

Кинофестиваль предназначался для киноманов всех мастей и должен был занимать их целую неделю. Намечался просмотр фильмов со всего света, а также вручение призов, наград и оглашение имен победителей, чтобы привлечь лучших и вдохновить самых честолюбивых. Не совсем обычным моментом программы был показ старых фильмов – кинематографических шедевров, которые мало кто видел, а также фильмов, когда-либо запрещенных по той или иной причине. Организаторы фестиваля обыскали великие киноархивы и уговорили их владельцев выдать драгоценные бобины из банковских сейфов. Московская школа кино, парижская *Cinématique Française*, берлинский *Reichsfilmarchiv* вынудили у организаторов всевозможные гарантии, что с редчайшими хрупкими целлюлозными пленками будут обращаться бережно, как они того заслуживают. Руководство фестиваля заверило публику, что ей покажут коллекцию забытых и репрессированных фильмов, не имеющую себе равных. Каждый из этих фильмов – шедевр, и те, кто считает кино великой формой искусства XX века, обязаны смотреть их затаив дыхание и вглядываясь в каждую деталь. Программа фестиваля и без того была обширной и дорогой, но эта коллекция вновь обретенных сокровищ играла центральную роль; для нее приберегалось место на газетных полосах и особо выразительные эпитеты.

Именно эта часть фестиваля больше всего влекла Нюхача, поскольку в ней, конечно, можно будет накопать кучу «влияний», а также давних несправедливостей, когда изобретение того или иного кинематографического приема приписывают другому человеку; Нюхач обожает указывать на подобные ошибки.

Торжественная церемония открытия, на которую я попал как тень Гоинга, была примерно такой, как я и ожидал. Она проходила в огромном закрытом помещении в одном из лучших отелей Торонто; это помещение нельзя было назвать комнатой, поскольку в ней не было центра, фокуса, который притягивал бы к себе внимание; не было оно также и залом, поскольку его архитектура не направляла все взгляды в определенную сторону. Это был просто огромный отсек с ковролином на полу, без окон, ничего общего не имеющий ни с природой, ни с искусством и отчасти похожий на сумрачную пещеру, несмотря на мириады электрических ламп. В помещение вел длинный коридор вроде туннеля, увешанный современными гобеленами, с которых свисали массивные клочья пряжи, словно их поднял на рога и вспорол бешеный бык. Еще в это огромное пространство можно было войти через почти невидимые двери, сквозь которые сновали официанты и официантки с подносами угощений, напоминающих россыпи драгоценных камней – работа искусников, посвятивших свои дни созданию этой недолговечной красоты. Хотя помещение вентилировалось машинами, которые закачивали и выкачивали воздух, оно хранило память обо всех предыдущих мероприятиях – смесь запахов еды и женских духов.

Фестиваль проходил под покровительством лейтенанта-губернатора провинции Онтарио; поскольку под эгидой лейтенанта-губернатора было множество масштабных и достойных начинаний, не следовало ожидать от него знания предмета; он лишь должен был почтить мероприятие своим присутствием, выступив в роли распорядителя на торжественном вечере, устроенном правительством Онтарио в честь фестиваля. Лейтенант-губернатор исполнил свой долг, выразительно транслируя вице-королевскую благосклонность к подданным; он приветствовал людей, которых знал слабо или совсем не знал, с теплотой, приличествующей его сану. Он дер-

жался подчеркнуто демократично, но снующие вокруг адъютанты в форме и его торжественный вход не оставляли сомнений: он действительно важная персона, хоть и занял свое место по волеизъявлению народа (то есть, в данном случае, нынешнего правительства). Его высокое положение необычно, ибо он, хоть и утверждается на посту народом, в первую очередь выступает как представитель королевы. Премьер-министр провинции не присутствовал на вечере, поскольку вынужден был сейчас находиться в трехстах километрах отсюда, покоря сердца избирателей в преддверии важных дополнительных выборов. Зато приехала его супруга; она держалась в высшей степени милостиво и благосклонно, но тоже вела себя подчеркнуто демократично. Местные вина и особенно шампанское производства Онтарио текли рекой и поглощались в объемах, приличествующих случаю. Эти вина тоже были демократичны, без единого намека на элитизм. Собравшиеся блистали в вечерних туалетах; кавалеры Ордена Канады носили свои эмалевые знаки отличия с гордостью, которая, однако, смягчалась демократичным *bonhomie*⁴. Они словно говорили: «Я ношу орден, раз уж меня им удостоили, но прекрасно знаю, сколь многие заслуживают этой высокой награды больше, чем моя ничтожная личность».

В общем, это было типично канадское празднество, на котором остатки монархической системы борются со стремлением доказать, что в конечном итоге ни один человек не лучше и не хуже любого другого. Подобные трения неизбежны для страны, которая, по сути, представляет собой социалистическую монархию и твердо намерена добиться толку от этого строя; и надо заметить, что цель достигается на удивление успешно, ибо умы одобряют демократическое равенство, а монархия между тем укоренена в сердцах.

Но презреть вообще всякие чины и звания – не в человеческой природе. Лейтенант-губернатор с супругой взвалили на себя тяжелую задачу – смешать разнородную аудиторию в единую массу любителей кино, пылающих энтузиазмом; однако они, как ни старались, не смогли объединить светских львов, богачей и интеллигенцию в однородный бульон. Там и сям попадались парочки, в которых одна половина была знаменита, а другая – богата. Эти излучали особую уверенность. Но попадались также большие шишки и богатеи, которые неуверенно озирались: они знали, что на светском мероприятии положено общаться, но не очень понимали как. Что же касается интеллигенции, представленной в основном кинокритиками, она в большинстве своем окопалась у баров, иногда с явным презрением оглядывая прочих собравшихся. Интеллектуальная элита не признает демократии.

Гоинг не тушевался. В конце концов, он занимал высокое положение в обществе как потомок одной из знатных семей; его окружала нимбом слава сэра Элюреда, покойного колониального правителя. Богатым Гоинг не был, но водил знакомство с богачами, причем со «старыми деньгами», а не какими-нибудь нуворишами. Несомненно (и весьма демонстративно), он принадлежал к интеллигенции, ибо разве важнейшая газета Канады не поручила ему просветить читателей на предмет того, что заслуживает и что не заслуживает их внимания? Хоть орденом он похвалиться и не мог, зато у него была трость, сама по себе знак отличия, и почти все присутствующие знали, что это – его скипетр критика, который, конечно, ни в коем случае не может быть оставлен в гардеробе. Все это отражалось и в костюме Гоинга – отлично сидящем, элегантном, от первоклассного портного.

Гоинг единственный из всех критиков явился в смокинге. Остальная газетная братия презирала подобное тщеславие и была одета как попало: от неопрятных водолазок и вельветовых штанов до твидовых пиджаков с фланелевыми брюками. Одна женщина из большой популистской газеты пришла в засаленном пуловере с яркими поперечными полосами, которые отнюдь ее не стройнили (в любом случае безнадёжная задача), но это было не важно, так как ее мнение считалось весомым; она созерцала практически все вокруг со злым отвращением.

⁴ Добродушие, дружелюбие (фр.).

Так я попал на гала-церемонию открытия фестиваля; впрочем, я был невидим и мое присутствие не стоило правительству ни гроша, поскольку есть и пить я все равно уже не мог. Зато мог наблюдать Гоинга во всем блеске. Точнее, был вынужден наблюдать. Как говорил когда-то Макуэри и как я теперь с огорчением вспомнил, я не настолько свободен, насколько ожидал, а напротив, привязан к Гоингу; я не знал, сколько времени это будет продолжаться.

И впрямь, мое восприятие времени стремительно менялось. Как нас часто уверяют и как мы часто забываем, время – понятие относительное. Но если я прикован к Гоингу – до какой степени он прикован ко мне?

(2)

Может, это и есть ужас смерти – одиночество, что затапливает меня, пока я жду... жду... жду, все меньше чувствуя ход времени, каким его знают живые, и все сильнее ощущая объемлющую меня плерому? Я обитаю в мире людей, но пока ни разу не встретил подобных себе, с которыми мог бы поговорить, от которых мог бы ждать совета или сочувствия. Может быть, это такое испытание? Возможно ли, что ничего другого у меня не будет... даже боюсь предполагать, как долго? Каков бы ни был ответ, я вынужден делать то, что вынужден; а сейчас я должен идти в кино со своим убийцей.

(3)

Сейчас утренний сеанс; на часах Гоинга без пяти одиннадцать. Я вхожу вместе с ним в кинотеатр, где будут показывать особо драгоценные, редкие фильмы. Фестиваль проходит в нескольких кинотеатрах, и этот – самый маленький из них, так как ожидается, что фильмы, представляющие только исторический интерес, соберут меньше всего зрителей. Как уныл кинозал в это время дня! Он освещен ровно настолько, чтобы зрители могли найти кресла; полумрак приводит зрителей в подавленное настроение и отбивает у них охоту болтать. Кинозал заполнен примерно на треть. Он отдает чем-то почти священным, как зал для прощания с телом покойного. В нем воняет детьми, грязными носками и застарелым попкорном. Стены выкрашены в цвет, который когда-то называли «цветом увядшей розы». Есть ли у него в наши дни название иное, чем «грязно-розовый»? В передней части зала, куда можно спуститься по слегка наклонной плоскости, – нечто напоминающее сцену, но очень отдаленно, хоть и украшенное жиденьким бархатным занавесом; он обрамляет то, что можно было бы назвать просцениумом, если бы за ним лежала какая-нибудь сцена. Кинотеатры любят маскироваться под театры, но эта имитация жалка и неубедительна; так изготовители автомобилей никак не могут отделаться от призраков изящных экипажей XIX века. Когда Гоинг вошел в это унылое место, несколько других кинокритиков взглянули на него, не кивнув и не улыбнувшись. Не из-за вражды, но по обычаю их ремесла; хирурги тоже не пожимают друг другу рук в операционной.

Должны были показывать фильм «Дух 76-го», снятый в 1917 году в США неким Робертом Голдстейном, который за свои труды получил только десять лет тюрьмы по закону о шпионаже. Но почему? Фильм был отчаянно антибританским, и режиссеру не посчастливилось выпустить его как раз тогда, когда Соединенные Штаты вступили в Первую мировую войну как союзник Британии. Фильм был запрещен, и то, что организаторам фестиваля удалось его откопать, – большое достижение. Будет ли он сочтен политически неблагонадежным сегодня? Очень маловероятно.

Поскольку фильм был немой, за пианино перед экраном села женщина, сняла с пальцев кольца и осторожно разложила сбоку от клавиатуры, скомкала носовой платок, положила сверху на кольца и, как только по экрану заскользили тени, заиграла; она играла без перерыва до самого конца фильма. Она оказалась умелой тапершей и передавала все настроения фильма – от мрачности до веселья, от живости до суровости – не прерываясь на переключение передач. Она хорошо чувствовала историю: все, что она играла, было написано не позднее 1917 года. Она также обладала чувством соразмерности: например, «Сердца и цветы» она исполнила так, как исполнял бы человек, живущий в 1917 году, – без насмешки, без снисходительного отношения к людям прошлого. У нее был пышный стиль исполнения, можно сказать – нецеломудренный; она рассыпала арпеджио, как конфетти. В своем амплуа она была выдающейся артисткой. Вероятно, среди женщин, работавших таперами в эпоху немого кино, встречалось много таких талантов.

Я подробно рассказываю про ее выступление, хотя воспринимал его лишь урывками. Ведь почти сразу, как только начался фильм и на экране возникли зернистые очертания актеров, одетых по моде приблизительно конца восемнадцатого столетия, жестикулирующих и беззвучно двигающих губами, разыгрывающих некую бурную драму, я понял, что смотрю нечто совершенно иное. Смотрю и слушаю, поскольку мой фильм – мой личный фильм – сопровождался оркестровой музыкой, весьма утонченной и современной по характеру; изображение было четким и убедительным; мои актеры – если это были актеры – говорили вслух. Я понимал их не сразу, и для этого мне приходилось делать усилие: они говорили на английском языке, но на американском английском времен Войны за независимость, его мелодика и акцент были

мне незнакомы. Фильм потрясал; посмотри я его при жизни, я был бы в восторге. Но сейчас я испугался.

А что же видит Гоинг? Он царапал в блокноте на коленке какие-то заметки; судя по тому, что мне удалось разглядеть, они не имели отношения к моему фильму. Совсем никакого. То, что смотрел я, было жизнью – странной, но, несомненно, жизнью; я с трудом понимал происходящее, но смутно чувствовал, что эти события для меня чрезвычайно важны.

(4)

Видел я Нью-Йорк – такой, каким он был в 1775 году. Или в 1774-м? Я точно не знал. Но это несомненно был Нью-Йорк; Джон-стрит, застроенная респектабельными, но не роскошными домами. Насколько я понял, здесь обитал средний класс: лавочники, юристы, врачи и им подобные. В том доме, на который сейчас было обращено мое внимание, жил военный. Вот он, уверенный и подтянутый, в форме офицера британской армии, спускается по надраенным песком ступеням своего дома на освещенную солнцем улицу. Он идет, и штатские соседи здороваются с ним: «Доброе утро, майор Гейдж! Прекрасная погода сегодня, майор!» Он шагал осанисто, не маршируя, но сохраняя военную выправку, – человек, гордый делом своей жизни. Из окон его собственного дома ему помахала девочка, и он четко отсалютовал ей; явно привычная маленькая шутка между отцом и дочерью. Приветствующим его прохожим он отвечал не то чтобы салютом – просто поднимал руку в перчатке к переднему углу треуголки, размещенному точно над левым глазом. Приятный человек. Хороший сосед. Делает честь району, в котором живет.

Экран почернел на миг, и на нем появилось другое изображение: намек, что прошло какое-то время; кажется, киношники называют этот прием «вытеснение шторкой». Музыка заговорила о том, что изменились обстоятельства, пришло ненастье, наступила осень. Я опять увидел майора, который спускался по ступенькам своего крыльца. Лицо его посуровело, и понятно почему: к нему бежала кучка уличных мальчишек с криками: «Красная жопа! Красножопый тори!» Когда шайка пробежала мимо, один мальчишка обернулся и швырнул в майора ком грязи, оставив пятно на спине красного мундира. Девочка в окне скрылась, явно испуганная. Майор, не дрогнув, двинулся дальше, и на этот раз в его поступи было что-то от военного марша.

Сцена опять сменилась, и я оказался в доме майора, за семейным ужином. Ужин хороший, и подают его две чернокожие служанки, но они не рабыни, а что-то вроде временно крепостных. Девочка, средняя из трех детей, с некоторой робостью спрашивает отца, что означает ругательство, слышанное утром. «Совершенно ничего, милая. Оно не имеет смысла. Мальчишки, оборванцы из трущоб, наслушались глупостей от смутьянов. Дочь солдата должна понимать, что всякие жулики не любят ее отца: они боятся закона и армии. Солдат не должен обращать внимания на всякий сброд. Попадись они мне еще раз, пускай берегутся моей уставной трости».

Потом, уже в кровати с четырьмя красивыми резными столбиками, майор говорит с женой; под ее нажимом он сознаётся, что, может быть, ком грязи значит все же нечто большее, чем майор сказал дочери. Майор как англичанин и военный непоколебимо уверен в завтрашнем дне. Разве он не офицер одного из семнадцати полков, которые Британия держит в своих американских колониях для защиты от французов, испанцев, пиратов и контрабандистов? Не говоря уже об индейцах. Разве армия не усмирила всех этих негодяев? Если он еще раз встретит тех уличных мальчишек, уж он им пыль-то из курток повыбьет.

Миссис Гейдж в этом не очень уверена. Она не англичанка. До того как встретила и всем сердцем полюбила майора, она звалась Анна Вермёлен. Кровь голландских поселенцев, давно обосновавшихся в Нью-Йорке, порой слегка холодеет у Анны в жилах от сплетен голландских кумушек за утренним кофе: они знают такие вещи, которых британцы вроде бы не слышат или, во всяком случае, не слушают. На первом этаже дома, в гостиной, висит прекрасная гравюра – портрет короля Георга III в блистательном мундире, властного и решительного. Дети почитают этот портрет почти как святую икону. Но Анна знает от своих небританских подружек: по слухам, королю не нравится, что творят его министры в американских колониях; в Лондоне, и

даже в парламенте, есть солидная проамериканская фракция, она добивается, чтобы жалобы колоний были услышаны.

Конечно, многие из жалоб – ерунда на постном масле (Анна подцепила это солдатское выражение у мужа и щеголяет им, чтобы показать свою приобретенную английскость), их раздувают негодяи вроде знаменитого контрабандиста Джона Хэнкока и пройдохи-законника Сэма Адамса. Но есть и обоснованные жалобы, от которых не так легко отмахнуться.

(5)

В нью-йоркских кругах, где вращается чета Гейдж, почти не говорят в открытую об этих жалобах и обидах. Но как-то в воскресенье достопочтенный Кифа Уиллоуби заговаривает о них с амвона церкви Святой Троицы – самой значительной из английских церквей Нью-Йорка. У Гейджей собственная скамья в этой церкви, и воскресным утром, когда они шествуют в храм, есть на что посмотреть: впереди идут двое старших детей, Роджер и Элизабет, стараясь двигаться так, как их учили на уроках танцев: с прямой спиной, но непринужденно, слегка выворачивая ступни наружу. Затем – майор и его красавица-жена, эффектная пара; их осанка вызывает восхищение у понимающих людей. Далее следуют две чернокожие служанки, Эммелина и Хлоя; у Хлои на руках трехлетняя малютка Ханна, закутанная в красивую турецкую шаль. Процессию замыкает лакей, привратник и работник на все руки Джеймс в добротной коричневой шинели (ранее принадлежавшей майору), который несет все молитвенники. Достигнув паперти храма Святой Троицы, семья приветствует знакомых вполголоса, как подобает дню Господню, и проходит к собственной скамье; скамья закрыта с боков, вроде ящика, обеспечивая приватность: тех, кто в ней сидит, отчетливо видит только священник с амвона. Таких ящиков в церкви много, и она получает за них солидный годовой доход. Те прихожане, что победнее, сидят подальше от алтаря, на бесплатных местах. Эта церковь – всецело респектабельная, всецело английская, всецело пропитанная духом тори; службы в ней пресные, а музыка – прекрасная. Однако сегодняшнюю проповедь можно назвать какой угодно, но не пресной. Она основана на цитате из Послания Иуды, стих шестнадцатый: «Это ропотники, ничем не довольные, поступающие по своим похотям; уста их произносят надутые слова; они оказывают лицепрятие для корысти». Достопочтенный Кифа Уиллоуби не стесняется указать на современные примеры подобных пороков: таковы бостонцы, почти все до единого. Бостон – надменный город. Его жители претендуют на благородство, но дела их коварны. Среди бостонцев есть известные контрабандисты, защищенные своим богатством; и законники, извращающие закон к своей выгоде. Это нечистоплотные прожектеры, которые ненавидят статус колоний и злословят власти предрежащие. Они подбивают законопослушных граждан-колонистов против короля и королевских податей. Да, против королевских податей, хотя неоднократно разъяснялось, что этот налог лишь покрывает расходы, связанные с защитой колоний от многочисленных врагов. «А сии злословят то, чего не знают» – точнее, притворяются, что не знают, – «что же по природе, как бессловесные животные», то есть движимые похотями своих черных и алчных сердец, – «знают, тем растлевают себя», – а также тех, чье невежество предрасполагает к подобному растлению. Как проповедник достопочтенный Кифа Уиллоуби несет тяжкий груз учености, который порой ложится и на плечи его прихожан: ему случалось вещать в течение долгих двух часов (согласно песочным часам, стоящим у него на амвоне), разъясняя какую-нибудь малопонятную тонкость церковных доктрин. Однако сегодня он краток и пылок, и его паства обратилась в слух. Неужто мистер Уиллоуби в самом деле говорит о вещах, которых не должно упоминать с амвона, пока они относятся к царству передаваемых шепотом слухов и сплетен? И впрямь. Неужели Церковь вмешивается в политику? Допустимо ли это?

Но мистер Уиллоуби недвусмысленно дает понять, что собирается говорить именно о революционном брожении умов, которого боятся все, но которое до сих пор не проявлялось в Нью-Йорке открыто. Он делает глубокий возмущенный вдох и принимается ораторствовать.

Что же лежит за этим ропотом, уже переходящим в гул? Мятеж? Разумеется. Но у мятежа должна быть причина, и эта причина – не недовольство налогами и не стоимость содержания семнадцати английских полков в американских колониях. Это и не популярный лозунг «Нет – налогообложению без представительства». Это не жалованье различных колониальных губернаторов, ибо не будь их – кто станет посредником между нашими собственными избранными

представителями и нашим королем в Лондоне? Ропотники и жалобщики разглагольствуют об этих делах вздорно и дерзко, но подлинная причина спрятана глубже.

Она кроется в сердце человеческом, где обитает множество грехов; они могут даже ненадолго захватить власть, когда Князь Тьмы одерживает временную победу. Именно в сердце Каина обрел опору враг рода человеческого, и Каин восстал и сразил своего добродетельного брата Авеля. И не искал ли Каин себе оправданий, говоря: «Разве я сторож брату своему?» Не говорят ли эти злодеи, желающие сбить нас с пути истинного, то же самое? «Почему я должен помогать Британии в войнах с Испанией и Францией? Что мне до них? Разве не довлею я сам себе?» Возлюбленные братья и сестры, это не ропотники и жалобщики рекут сии мятежные словеса из глубин сердца своего. Это глас Каина, а через Каина вещает сам Ангел Тьмы. Это Ангел Тьмы желает, чтобы в Америке восстал брат на брата, а подданный – на короля.

Возлюбленные братья и сестры, глаголю вам страшную истину: Каин восстал посреди нас! Каин восстал, и пока мы не укротим его, мы не будем знать мира в сей земле, кою Господь наш уготовал столь прекрасной для мирного жития. Каин восстал, глаголю вам! Каин восстал!

Эту проповедь оживленно обсуждали за воскресным ужином, причем не только в семьях прихожан мистера Уиллоуби. Весть о ней разлетелась по Нью-Йорку так быстро, что к вечеру воскресенья уже и пресвитерианцы, и лютеране, и даже квакеры размышляли о Каине. Ибо удобней винить Каина, коего никто в Нью-Йорке не знает, чем Патрика Генри, которого знают и который сказал во всеуслышание, что у Цезаря был Брут, у Карла I – Кромвель, и Георгу III следовало бы учиться на чужих ошибках. Правда, король Георг в Лондоне, а Патрик Генри – в Виргинии, и кое-что можно списать на профессиональную привычку адвоката к громким словам, но все же подобные разговоры суть зло и соблазн для простых людей, не сведущих в государственных делах. Казалось, что призрак Каина заключает в себе и объясняет многое, о чем доселе шепотом говорилось за кофе. Почтенные супруги и матери семейств вроде Анны не должны были разбираться в таких вещах, зато они понимали, что такое Каин, или думали, что понимают.

«Мама, что такое „красножопый“?» – спрашивает Элизабет, когда отца нет рядом.

«Это плохое слово, которым называют солдат, миленькая, потому что у них красные мундиры».

«Их еще называют омарами и красными раками», – добавляет Роджер.

«Не слушай их, милая. Все эти люди будут рады увидеть красные мундиры, когда придут индейцы. А это может случиться в любую минуту, если вы не пойдете немедленно спать».

Но Роджер знает, что «красножопым» называют также солдата, которого за какой-то проступок пристегнули к пирамиде из четырех связанных алебард и высекли. Два десятка плетей – обычное наказание. Изредка доходит до трехсот, тогда удары наносит закаленной рукой барабанщик. Прежде чем отпустить наказанного, на кровоточащую спину выплескивают ведро рассола, принесенное из кухни, – чтобы очистить раны и ускорить заживление. Образцовый солдат, желающий выслужиться, не встречается с девятихвостой кошкой; а вот у лодырей, годных лишь к самой черной службе, спина бывает вся в бороздах, как распаханное поле. Жители колоний попрекают армию этим суровым наказанием; сами они предпочитают применять к преступникам смолу и перья.

Глядя на все это, я понимаю, что создатели фильма, кто бы они ни были, пользуются предоставленной им свободой и спрессовывают месяцы и годы в несколько сцен. Но сейчас на экране возникают события, даты которых известны. Вот «Бостонская бойня», она случилась в 1770 году, но вызванное ею ожесточение со временем лишь возросло. Британская армия стреляла в безоружную толпу; этого не следовало делать, но вооруженные солдаты под командованием слабонервных офицеров поступали так со дня изобретения пороха и дальше будут поступать так же. Хотя ущерб был невелик и погибло всего пятеро, среди них оказался Крисп Атакс, которого в городе любили; и похороны убитых послужили великим рассадником мятежных

настроений. Британского командира даже судили за убийство – и оправдали, ибо многие с нелегким сердцем признавались себе, что вряд ли справились бы лучше на месте обвиняемого. Но настроения в Бостоне весьма неблагонадежны, и именно там в 1775 году начинаются настоящие стычки.

(6)

Прежде чем выдвинуться с войсками на поле битвы у Бридс-Хилл (на самом деле она должна была происходить у Банкерс-Хилл, но Уильям Прескотт решил иначе, после чего народная историческая память все равно поменяла местами эти две высоты), майор провел чрезвычайно приятный вечер за развлечениями, которые особо ценил. Ибо хоть он и был прекрасным отцом и мужем и с удовольствием выполнял свой долг перед семьей, он ничто не любил так, как веселье среди товарищей по оружию, с обильным угощением и выпивкой, с разговорами, в которых он отдыхал душой, а также иными увеселениями, излюбленными у офицеров.

Мне показывают майора именно за этим времяпрепровождением, накануне того дня, когда его полк должен выступить из Нью-Йорка в Бостон: вот майор входит в гостиницу «Королевский герб» на Мейден-лейн, где в отдельном кабинете наверху собрались более пятидесяти его сослуживцев, чтобы угоститься мидиями, устрицами, омарами, ростбифом (разумеется), жареной бараниной и всякой мелочью вроде пирогов с зайчатинной и голубятиной, индейки и всего, что эти блюда требуют в качестве гарнира. Запивать будут кларетом, холодным рейнвейном, мадерой и портвейном – скорее всего, контрабандными, но господ офицеров это не волнует.

Вечер проходит прекрасно, и особое оживление придает ему то, что скоро британские войска наконец дорвутся до дела и, несомненно, разобьют американских недоумков. Конечно, они не будут излишне жестоки, но, безусловно, покажут мятежникам, что надменному Бостону не тягаться с мужчинами, вскормленными настоящей британской говядиной и пивом. Как уже показали французам в Квебеке. Офицеры вспоминают песню той поры:

Ввалились щеки, живот бурчит:
Идут французы, бледны на вид,
И мы для них – собаки.
Но пиво с ростбифом всегда
Даст фору супу, господа,
И лягушачьим лапкам!

Они показали этим мусью, кто есть кто и кто чего стоит; та кампания обошлась Англии во много миллионов фунтов. А все ради чего? Чтобы защитить неблагодарных бостонцев и показать краснокожим, кто настоящий хозяин Америки. Вот пускай теперь бостонцы платят свою дань и не ноют по поводу гербового сбора и налога на сахар. Ну что такое гербовый сбор? Какой-то умник рассчитал, что этот сбор обходится двум миллионам американцев примерно по пенни с головы в месяц. Кажется, недорого, если речь идет о защите их собственной шкуры. Об этом и беседуют офицеры за чашей вина; те же речи звучат снова и снова и никогда не надоедают.

Майор сидит во главе стола; он, возможно, и не самый старший по званию из собравшихся, но его фамилия – Гейдж, и по некой таинственной причине в нем видят главнокомандующего. На другом конце стола сидит майор Фезерстоун, кавалер множества наград и остряк в военном понимании этого слова. Если Гейдж – председатель этого собрания, то Фезерстоун – его заместитель.

Собравшиеся провозглашают тосты – менее формальные, чем звучали бы на собрании всего полка. Привилегия Гейджа – произнести главный верноподданнический тост: «За его величество короля Георга Третьего!» – и офицеры пьют до дна. Теперь на долю Фезерстоуна выпадает честь провозгласить тост за королеву Шарлотту, что было бы невозможно, если бы

пирушка проходила в офицерской столовой. В офицерской столовой не должно упоминаться имя дамы, какой бы то ни было. Но здесь Фезерстоун произносит имя королевы, вплетая его в хвалебную оду Женщине, или, как он любит выражаться, Прекрасному Полу. Без Прекрасного Пола жизнь мужчины бессмысленна, доблесть его лишена вдохновения, часы досуга ничем не улаждаются. Без Прекрасного Пола меч Марса теряет остроту, а лира Аполлона – сладкозвучие. За Прекрасный Пол, господа! И офицеры с громкими криками одобрения пьют за Прекрасный Пол; отставной полковник, которому завтра не надо выдвигаться на Бостон, так сильно расчувствовался, что падает под стол, и два официанта поднимают его.

Отличный вечер! Памятный вечер! Когда все, что можно, съедено, а выпивки еще много, офицерам обещают дальнейшие развлечения. На пирушке присутствует прапорщик Ларкин; хотя по званию он намного ниже всех остальных веселящихся, его голос незаменим. У него очень высокий тенор, мужской альт, и он умело украшает мелодию трелями. Более того, он виртуозно играет на спинете, а хороший спинет как раз стоит в углу. Он служит пищей для многих превосходных шуток, ибо над клавиатурой красуется надпись: «Мастер Гаррис из Бостона»; с одной стороны, парадоксально, а с другой – как нельзя более уместно, что под звуки этого инструмента сейчас будут веселиться те, кто скоро покажет бостонцам, где раки зимуют.

Ларкин, хорошенький юнец, поет так же мило, как выглядит; он исполняет популярную песенку «Анакреон в раю». Офицеры не знают, а вот я, сторонний наблюдатель, знаю, что на эту мелодию вскоре положат гимн «Знамя, усыпанное звездами»⁵. Но сегодня вечером она лишь одна из многих песенок и пользуется у слушателей меньшим успехом, чем «Прощаюсь, Геба, я с тобой», которую Ларкин исполняет с такими украшениями, что мелодию почти невозможно уловить. От последних строк:

Коль Геба мне благоволит,
Пускай завидуют пииты! —

наворачиваются слезы у нескольких суровых ветеранов, которых, как многих военных, трогают до глубины души песни мирного времени.

Но Фезерстоун и одаренный Ларкин приготовили компании сюрприз. Пока офицеры готовятся пить и петь до конца пирушки и склоняют Ларкина исполнить «Правь, Британия», открывается дверь и появляется удивительная фигура. Это костлявый долговязый юнец, одна нога у него босая, другая – в истоптанном солдатском сапоге; штаны продраны на заднице, и хвост красной рубашки свисает почти до земли; на голове треуголка, ее поля не пристегнуты и болтаются, зато она украшена огромным пучком разноцветных лент наподобие кокарды. Сбоку к поясу прицеплена чудовищных размеров сабля, которая с лязгом волочится по земле; в руках винтовка, модель которой не поддается определению, – она, вероятно, годится лишь для того, чтобы стрелять белок; к стволу необъятной длины прицеплено ржавое лезвие косы вместо штыка. Парень с глупой улыбкой глядит на собравшихся и сплевывает на пол с полпинты табачной жижи, пачкая себе подбородок.

«А, вот они вы где, жентмуны! – кричит он с утрированным колониальным акцентом. – Я-то вас в Бостоне поджидал, а вас нет как нет. Мы вас ждем, гостюшек дорогих. Но раз уж я вас отыскал, то спою вам песенку».

К этому времени он успевает пересечь всю комнату, на ходу карикатурно отдав честь майору Гейджу, и оказывается рядом со спинетом. Ларкин ударяет по клавишам; звучит мелодия, незнакомая большинству офицеров, с неизвестными им словами:

⁵ «Знамя, усыпанное звездами» – государственный гимн США. Автор слов Фрэнсис Скотт Ки. Стихотворение, ставшее гимном, написано в 1814 г., когда поэт стал свидетелем событий так называемой Войны 1812 года (военный конфликт 1812–1815 гг., в котором основными противниками выступали Англия и США, а боевые действия велись в Северной Америке).

Видим с капитаном мы
Да с моим папашей:
Новобранцы сгрудились,
То-то будет каша!

И пугало пускается в шутовской пляс:

Янки-щеголь, повернись,
Янки Дудль, покружись:
Будет музыка играть,
Будут девки обмирать!

Звучат еще несколько куплетов; иные из них до того непристойны, что некоторые офицеры даже не знают, смеяться или нет.

Кончается песня так:

Вот что люди говорили:
В Бостоне могилы рыли
Вот такой вот глубины —
Только янки им нужны...

Исполняя самый последний куплет, певец неуклюже отступает:

Как услышал этот сказ,
Испугался тот же час
И что было моих сил
Прям до дому припустил...

К этому времени офицеры успевают запомнить припев, и «Янки Дудль» звучит на бис, снова и снова; артист – младший офицер, блеснувший в полковой самодеятельности в ролях комических деревенщин, – демонстрирует ружейные приемы, по ходу дела роняет саблю, путается в хвосте собственной рубашки и наконец стреляет из своего нелепого ружья, при этом из дула вылетает горсть куриных перьев.

«Янки Дудль» становится гвоздем вечера. Офицеры счастливы. Перед ними – противник, каким они его себе представляют. Они пьют за здоровье артиста и усиленно поят его; он насаживает табак, который перед тем жевал, на штык ружья, пьет и падает на пол в притворном пьяном забытии.

После этого все остальные развлечения уже кажутся пресными – даже воодушевленное исполнение гимна «Правь, Британия», аккомпанируя которому Ларкин чуть не разбивает вдребезги бостонский спинет.

Проходит всего несколько дней, и британцы побеждают Янки Дудля в битве при Бридс-Хилл. Британская армия несет лишь незначительные потери, но в числе убитых – майор Гейдж. Выходит, что могилы – «Вот такой вот глубины» – предназначались не только для янки.

Возможно, на майора возложили ответственность, непосильную для него, лишь по той причине, что он совершенно случайно оказался однофамильцем британского главнокомандующего. Подобные недоразумения случаются, как на поле боя, так и за его пределами. Имя важнее, чем полагают приземленно мыслящие люди. Но как бы то ни было, майор мертв, и семья на Джон-стрит в Нью-Йорке прозревает лик Каина в этой невосполнимой утрате.

(7)

Похоже, наступил антракт: фильм «Дух 76-го» завершился бравурным аккордом, в котором смешались в кучу Джордж Вашингтон, «Звезды и полосы»⁶ и фигура молодой женщины, вероятно олицетворяющей Свободу. Киноманьяки вроде Гоинга будут в восторге, увидев столь раннее применение этого приема. Они говорят о нем в фойе, где приготовлено неизбежное угощение: держатель билета может претендовать на бокал скучного белого вина и тонюсенький сэндвич на белом хлебе, пока хватит запасов. Но старые фильмы очень короткие, обычно всего несколько бобин, и как только еда исчезает, зрители снова ломаются всей толпой в душный зал, чтобы увидеть другой классический фильм, посвященный революции, – очевидно, такова тема сегодняшнего дня. Он знаком многим присутствующим, ибо это знаменитый «Броненосец Потемкин», фильм 1925 года. Всезнающий Гоинг выговаривает название фильма так, будто у него каша во рту, якобы демонстрируя чистое русское произношение.

Но что же увижу я?

На всем протяжении показа «Духа 76-го» я как бы краем глаза наблюдал то, что видели на экране зрители, но гораздо ярче воспринимал свой собственный фильм, который намного живей и убедительней показывал события, приведшие к американской революции. Старый фильм иллюстрировал идею, он был исторической реконструкцией с пропагандистским уклоном, а мой показывал обычных людей, что, на мой взгляд, впечатляло намного сильнее. Буду ли я и дальше смотреть то же самое, или меня перенесут в мощную картину, созданную Эйзенштейном, – идеологизированное изображение восстания 1905 года на черноморском флоте? Фильм примечателен использованием в массовке настоящих солдат и матросов, потрясающим изображением каменных львов, оживающих при виде революции, новаторским монтажом и удивительной музыкой. Очевидно, нет: я снова обнаружил, что смотрю и воспринимаю два фильма сразу, и мой начался в относительно мирном Нью-Йорке.

Нью-Йорк поначалу равнодушно отнесся к революционным выступлениям; этот теплохладный город в 1776 году я сейчас и наблюдаю. Тогда в городе жило много голландцев – британских подданных, но в глубине души все же голландцев. Многие из них распоряжались значительными деньгами. Одним из таких людей был старый Клаас ван Сомерен, полуюрист, полубанкир и на сто процентов финансист; именно в его надежных руках находится капитал Анны Вермёлен-Гейдж. И потому, когда майор Гейдж пал смертью храбрых, именно к ван Сомерену обратилась Анна за советом, и банкир дал ей совет банкира: не шуметь, не паниковать и ни в коем случае не действовать второпях. Деньги говорят очень внятно, а ван Сомерен заботливо хранил для Анны большие суммы.

Анна – богатая наследница; это на ее доходы майор жил гораздо шире, чем позволяло майорское жалованье. Конечно, по закону, по тому самому закону XVIII века, который делал жену собственностью мужа, все, что было у Анны, принадлежало майору. Однако он мог получить доступ к состоянию жены только через старого Клааса, который был чрезвычайно дружелюбен, но не очень разговорчив. У него было свое мнение о способности английских солдат обращаться с деньгами, и он ежеквартально вручал майору солидные суммы, но никогда не давал полного отчета о том, чем располагает Анна. Отец Анны, Пауль Вермёлен, был близким другом Клааса ван Сомерена, и законник твердо решил охранить интересы своей подопечной, которая также приходилась ему двоюродной племянницей, – голландцы очень серьезно относятся к такому родству. Поэтому майор, невинный в финансовых делах и склонный доверять

⁶ «The Stars and Stripes Forever» («Звезды и полосы навсегда») – патриотический американский марш (1896), слова и музыку к которому написал композитор Джон Филипп Суза. Акт Конгресса США (1987) провозгласил его национальным маршем США.

юристам, так и не узнал ни о принадлежащих Анне закладных, ни о богатых фермах в Гринбуше, вверх по Гудзону, которые Анна сдавала в аренду и получала с них значительный доход. Точнее, получала не она – эти деньги собирал старый Клаас и складывал в очень прочные сейфы у себя в конторе, в мешочках, к которым крепкой проволокой были прикручены бирки с именем Анны. Далеко не все эти мешочки – если точнее, то меньше половины – ушли на то, чтобы подсластить жизнь майора.

Анна поразилась, узнав от старого родственника, сколько у нее денег. Это открытие в значительной степени осушило ее слезы, что, однако, ее нисколько не порочит. Овдоветь – весьма прискорбно, и Анна искренне любила мужа. Но есть большая разница между положением богатой вдовы и положением нищей солдатки, оставшейся без гроша и надеющейся на казенную пенсию. Теперь Анна утирала слезы платочками из лучшего батиста, а старый законник Клаас размышлял о том, что деньги служат отличной заплатой на разбитый башмак. Старик не был жесток, но, как многие люди, через которых проходят большие суммы, смотрел на человеческие чувства не без цинизма.

(8)

Внешняя канва жизни Анны практически не изменилась. Нью-Йорк принимает новую республику равнодушно и без спешки. Конечно, горожане понимают: у них на глазах родилась новая нация, но пока неизвестно, выживет ли младенец. Главнокомандующим американскими силами назначают Джорджа Вашингтона; известно, что, когда он служил британцам, его презирали и обходили повышением; люди с мелочной душой уверены, что он из-за этого озлоблен на Англию, а великодушные считают, что он выше подобных дрязг. Никто не отрицает, что он благородный человек, чего нельзя сказать обо всех подписавших знаменитую Декларацию. Но достанет ли у него сил выстоять в войне против обученных войск? По слухам, при виде кое-кого из солдат своей армии он в отчаянии воскликнул: «И с этими воинами я должен защищать Америку?» Я могу его понять; в моем фильме показали и их.

По сравнению с британцами, слаженно, как марионетки, выполняющими ружейные приемы, марширующими в ногу и четко заступающими на караул, американские солдаты похожи на мешки соломы. Просто не было времени их муштровывать, да и вряд ли они подчинились бы подобной дисциплине. Но они обладают собственным духом, и он грознее, чем до сих пор думали британцы. Эти деревенские парни – отличные стрелки, да еще перезаряжают так быстро, что британцам за ними не угнаться. Они воевали с индейцами и научились тому, что сейчас называют партизанской войной; это раздражает и приводит в отчаяние регулярные войска, привыкшие сражаться по учебнику. В генеральном сражении – например, при обороне Нью-Йорка – британцы точно знают, что делать, и одерживают победу. Однако они не готовы к встрече с толпой, которая называет себя «Сыны свободы» и умудряется сжечь полгорода. В Бостоне британцы на горьком опыте узнали, что стрелять в толпу не рекомендуется. В суматохе при столкновении с повстанцами, не одетыми в форму, откуда британскому офицеру знать, кто здесь опытный разжигатель беспорядков, а кто – просто любопытный горожанин, растерявшийся в толкучке, подобно Криспу Атаксу? Пускай честные люди держатся подальше от толпы сброда, и ничего с ними не случится.

Американцы тоже злы. Британцы возмущаются партизанщиной американских войск; но и американцы возмущены – тем, что генерал Хау прибег к помощи наемников-гессенцев. Тысячи немцев сражаются на стороне Британии. Когда брат восстал на брата, разве порядочно – впутывать в дело чужаков? Обида еще сильнее оттого, что гессенцы (на самом деле не все они гессенцы, но все – из немецких княжеств) оказались отличными бойцами, не такими сонными, как британские солдаты, а их отряды егерей вообще лучшие среди двух армий. Конечно, то, что Британия впутала в дело иностранцев, невыносимо, и обида американцев растет. Легко ненавидеть генерала Хау, воплощение британского высокомерия, но его боятся меньше, чем фон Ридезеля, брауншвейгца, который не стесняется перенимать приемы у врага и быстро обучает свои войска скорострельному огню. До американцев понемногу доходит: это настоящая война, а не просто семейная ссора, и если воюешь нечестно, против тебя будут воевать так же нечестно. Обе стороны начинают понимать, что любая война – грязное дело и что благородные деяния воинов под стенами Трои, так хорошо изученные многими офицерами с обеих сторон, имели место исключительно в воображении Гомера. Как обычно, тяжелее всего приходится простым солдатам, сроду не слыхавшим о Гомере.

В общем, заварились ужасная каша, и Анна, как многие женщины, не понимает, зачем мужчины заварили такую кашу и теперь не способны ее расхлебать. Анна знает только, что город Нью-Йорк сильно пострадал, но генерал Хау и его люди держат ситуацию под контролем – насколько вообще можно контролировать город, в котором столько жителей склоняется на сторону противника. В городе начинается нехватка провизии, но Анна от этого не страдает: она может покупать продукты по любой цене, был бы подвоз. Клаас ван Сомерен по-прежнему

советует не шуметь, не паниковать и не действовать второпях, и Анна очень осмотрительно следит за своими речами – даже в обществе доверенных голландских друзей, которые точно так же осторожны в ее присутствии. Надо просто подождать, и все успокоится.

(9)

Но ничего не успокаивается. Нью-йоркская колония (не путать с городом Нью-Йорком) приняла Декларацию независимости, и, по всеобщему мнению, жители города ждут не дождутся, чтобы британцы его оставили. Роджер, уже достаточно взрослый для самостоятельных вылазок на разведку, смотрит, как валят и оскверняют позолоченную статую Георга III на лугу Боулинг-Грин, и сердце британца кипит гневом в груди юноши. Его отец слушал, как «Янки Дудль» исполняют в насмешку над американскими войсками, но теперь Роджер слышит эту песню повсюду: она стала американским патриотическим гимном, и в ней все время появляются новые возмутительные куплеты. Но молодые патриоты Британии сочинили свои слова, и однажды Анна слышит, как ее сын распевает на улице:

Янки Дудль въехал в город
На кобылке в пятнах.
В зад себе воткнул перо —
Экий хлыщ, ребята!

Роджера секут за исполнение неприличных песен. Точнее, Анна приказывает Джеймсу выпороть мальчика, а Джеймс — они с Роджером старые приятели — вступает с ним в заговор и сечет громко, но безболезненно. Впрочем, это все равно удар по самолюбию, и Роджер дуется. Он уже выработал понятие, кто на чьей стороне, и считает, что женщинам нечего совать нос в мужские дела. Элизабет, которая подслушивала, вместо того чтобы вышивать, интересуется, что значит «хлыщ».

— Это значит быть франтоватым до напыщенности, как прапорщик Ларкин, — объясняет Анна.

Она негодует, когда через несколько недель становится известно, что прапорщик Ларкин купился на деньги янки и перешел в войска мятежников, обучать их оружейным приемам. Это не единичный случай, поскольку британцы платят не очень щедро.

Я наблюдаю все это, время от времени краем глаза поглядывая на «Броненосец Потемкин»; главная идея фильма — в том, что любой мятеж хаотичен и сулит беду непричастным, у которых нет возможности убраться подальше. Восставший Каин в слепой ярости наносит удары наугад. Роджер знает, что по ночам банда хулиганов, зачернив лица, чтобы их не узнали, бьет окна в домах лоялистов, — а ведь оконные стекла очень дорогие. Приходит роковой день, когда Джеймс, привратник и слуга, слишком громко ругает американцев в таверне за манеру драться нечестно; он не замечает трех человек, сидящих в углу. Назавтра они подстерегают его в засаде и приводят банду, которая вываливает Джеймса в смоле и перьях и таскает на шесте по тем улицам, где жители сочувствуют американцам. Джеймс кое-как доползает до дому; он очень плох, и Анна со служанками выхаживают его две недели, прежде чем он опять может работать.

Сейчас мы знаем о наказании смолой и перьями только из поговорки, но на самом деле оно было чудовищно унижительным и опасным для жизни. Если тело жертвы слишком обильно мазали горячей смолой, это могло ее убить, так как кожа переставала дышать. Перья служили чисто декоративной цели, но когда полуголого мужчину тащили верхом на шесте, это могло навеки оставить его без потомства: шест врезался в тело, а носильщики еще и трясли его, чтобы жертву кидало вверх-вниз. Смолу можно было оттереть скипидаром, но слишком щедрые дозы скипидара могли обжечь, и потому обычно использовался уксус. Смола смывалась медленно и болезненно; любой растворитель в слишком большой дозе оставлял на коже плохо заживающие раны, хоть Анна и не жалела портера в качестве лечебного средства. Отбитую

мошонку можно было лечить разве что примочками, да и их польза была сомнительной. Толпа ухала и кричала в восторге при виде такого зрелища, ибо перед ней было пугало, курица размером с человека, создание, отверженное ближними, а потому – достойная забава для Каина. Но несчастная жертва, когда ее бросали, натешившись, оставалась калекой до конца жизни. Даже когда индейцы снимали с человека скальп, это было не так тяжело: рана от срезанного клока волос заживала, а мода на парики позволяла скрыть увечье. А вот жертва смолы и перьев могла считать, что ей повезло, если она всего лишь осталась одноглазой, хромой и сломленной духом.

Мне стало дурно, когда я смотрел, как истязают Джеймса; я попытался закрыть глаза, чтобы не видеть, и обнаружил, что не могу. Не знаю, какая сила показывала мне этот фильм, но она явно решила, что я должен увидеть его весь.

Об очень многих сторонах тогдашней жизни я никогда и не задумывался. Среди людей XVIII века удивительно часто попадались низкорослые, почти карлики; и еще – совсем молодые, не достигшие двадцати лет, но уже вовсе беззубые или с полным ртом гнилых пеньков. Простонародье почти поголовно утешалось жеванием табака, от коего сплевывало весьма обильно и не разбирая места. У входа в церковь Святой Троицы в воскресный день мостовая была загажена табачной жвачкой, которую выплюнули прихожане, прежде чем занять свое место в храме. И по этой отвратительной жиже волочились длинные юбки дам.

Я много видел фильмов, действие которых происходит в XVIII веке, и теперь понял, насколько успех фильма зависит от художника по костюмам: одежда людей, на которых я смотрел сейчас, казалось, сшита не портными, а обивщиками мебели, знающими о форме человеческого тела с чужих слов и никогда не видавшими живого человека. Многие бедняки носили одеяния неимоверной древности: на улицах попадались фраки с квадратным выемом спереди, кожаные бриджи и даже шляпы с остроконечной тульей, по моде столетней давности. Шляпы эти были кастановые, практически неуничтожимые; разве можно выкинуть такую ценную вещь? Богатые же одевались дорого, но не элегантно, за исключением офицеров – британцев и гессенцев, чье обмундирование шилось в Старом Свете. Анна, обеспеченная женщина, могла позволить себе одежду самого лучшего качества; но ее платья были такими жесткими, что стояли без поддержки, и еще она всегда надевала не меньше четырех нижних юбок, в том числе обязательно одну из плотнейшей огненно-красной фланели. Но панталон Анна не носила, по моде своего времени; я узнал об этом, оказавшись свидетелем сцены, которую предпочел бы не видеть.

Анна была добродетельной женщиной, но при этом – молодой вдовой. Она не испытывала недостатка в воздыхателях; двое или трое из них пробуждали в ней томление и воспоминания о супружеской жизни, которые не всегда удавалось отогнать. В частности, некий капитан ван дер Хейден, гессенский аристократ с убийственными усами. Он несколько раз побывал в доме на Джон-стрит в компании знакомых, которых Анна завела среди оккупационных войск; но как-то утром он зашел один, и что было делать Анне, как не принять его, предложив неизбежный кофе и свежие «куки» – это голландское слово, обозначающее печенье, уже укоренилось в Америке. Капитан осмелел, а Анна реагировала на его авансы не так холодно, как следовало бы. Они оказались рядом на диване, и капитан беседовал с ней так любезно, что она утратила бдительность; он вдруг снял руку со спинки дивана, обнял Анну за шею, притянул к себе и поцеловал столь нежно, что она не отпрянула, когда его другая рука скользнула под тяжелые юбки, осторожно поднялась к колену, потом – выше подвязки, легла теплой тяжестью на обнаженную часть бедра, а затем переместилась туда, куда вдовам не следует никого допускать; но эта вдова сопротивлялась лишь для проформы.

Последовала любовная сцена: совершенно невинная по сравнению с обнаженной страстью в фильмах конца XX века, так почему же меня покорило? Конечно, потому, что я не привык к *таким* любовным сценам; эти двое были разодеты по всей форме, и в их похоти было

что-то затхлое, неприятное. Майор по моде того времени не снял шляпы, а его мундир был так плотно расшит галуном, что не гнулся; голову Анны покрывал вдовый чепец, а на бурно вздымающейся груди остались крошки от печенья. Анна что-то бормотала – надо думать, по-голландски. Дело едва не свершилось, но когда финал казался уже неизбежным, Эммелина постучала в дверь и спросила, можно ли унести чашки из-под кофе. Последовала, как выразились бы музыканты той эпохи, «развязка с разочарованием». Как выглядел бы финал домогательства, будь оно успешным? Шляпа, замшевые лосины и высокие сапоги капитана, чепец, тяжелые башмаки и многослойные нижние юбки Анны – как могло все это не помешать попытке слияния? Конечно, для Анны и капитана это был миг страсти, но для меня он смотрелся нелепо и жалко. Я, как многие, не прочь подглядеть за любовной сценой, но сейчас меня заставили понять, что я любил подглядывать только за искусно срежиссированными сценами, снятыми так, чтобы они соответствовали общему духу знакомых мне фильмов. Я человек своей эпохи – точнее сказать, был человеком своей эпохи, – а теперь обнаружил, что время и моды времени играют первостепенную роль в делах, которые, как я по глупости предполагал, вечны и неизменны.

В тот вечер Анна была особенно строга с детьми и сделала суровый выговор Элизабет; она обвинила дочь в том, что та сидит на стуле развалившись – девочка позволила себе откинуться спиной на спинку стула, что запрещалось правилами хорошего тона. Любой гость непременно счел бы такую позу нескромной. Иные времена, иные нравы. Точнее сказать – иные времена, иные понятия о человеческой природе.

(10)

Как странно выглядели эти люди! Какой странной была их еда и их манеры за столом! Джентльмены ковыряли в зубах в гостинной так же непринужденно, как брали понюшку табаку. Какими непривычными и часто отвратительными оказывались для меня запахи, ибо фильм был не только цветной и звуковой, но и обонятельный! Вездесущим был запах лошадей: сам по себе не противный, но тяжелый, а в смеси с вонью сточных канав, куда слуги каждое утро опорожняли ночную посуду – настолько подспудный и животный, что никак не сделаешь вид, будто его не существует. С ним тщетно боролись, перекладывая белье пучками лаванды и ставя в гостинной вазы с ароматическими сушеными смесями. Но в Нью-Йорке часто спасал ветер с моря – конечно, отдающий солью и рыбой, но все равно приятный по сравнению с бурой дымкой, постоянно висевшей в воздухе города, в котором лошади, основное средство перевозки грузов, мочились и испражнялись где попало.

Уж не стал ли я свидетелем зарождения знаменитого американского чувства юмора? Кажется, да. Британцы веселились в диапазоне от блестящих острот модного драматурга или прозаика до грубых шуток, основанных на неуклюжей непристойности. Американцы же, судя по всему, ковали юмор, который должен был стать новым оружием для их армии. Сухая ирония, усмешка с поджатыми губами, вызывающая не столько хохот, сколько кривую улыбку. Американцы взяли песенку «Янки Дудль» и обратили ее против британцев, так что «красножопых» уже тошнило от бойкого мотивчика, исполняемого на визгливых дудках, когда американская армия приближалась, а над ней реял флаг, составленный из частей собственного герба Джорджа Вашингтона – звезд и полосок. Американцы смеялись над собой; британцы были не склонны к подобному, а гессенцам такая возможность и в голову бы не пришла. Какой-то шутник-янки вспомнил песенку из оперы «Полли», популярной оперы из баллад – продолжения «Оперы нищего»:

В бою отчаянье сильней,
Чем мужество, стократ.
Тот, кто рожден был побеждать,
Вовек не сдаст назад.
Не сдаст назад, не сдаст назад!
Мы рождены, чтоб побеждать,
Нам нет пути назад!

Американцы пели ее без устали. Они могли бесконечно повторять одну и ту же шутку или мотивчик, и им не надоедало. Более того, они пели эту песенку жалобным, отчаянным тоном, словно с радостью обратились бы в бегство – даже если в этот момент бодро наступали. Британцы, слыша песню и смех, удивлялись. Эту войну называли братоубийственной, но какими непохожими стали братья! Даже само слово «отступление» в устах солдат совершенно противоречило всякой военной дисциплине. Разумеется, как и американский обычай дезертировать всякий раз, когда пришла охота навестить родную ферму. Бедный Вашингтон!

Британцы оставили Нью-Йорк только в конце 1783 года. Роджер до конца жизни вспоминал триумфальный въезд Джорджа Вашингтона в город. Город? Он насчитывал немногим более двенадцати тысяч жителей, но уже стал метрополией.

(11)

25 ноября 1783 года. Время обеденное, четыре часа пополудни. Анна сидит за столом с двумя старшими детьми. Малютку Ханну кормит мягкой пищей в ее спальне чернокожая няня.

– Почему ты ходил на парад на Бродвее? – спрашивает Анна сына. Она держится строго, он – с подчеркнутой вежливостью.

– Чтобы увидеть генерала Вашингтона, мэм. Это был его триумфальный въезд в город.

– Неподобающее место для сына храброго британского офицера, который пал, защищая нас против подобных выскочек. Я удивлена, что ты этого не понимаешь.

– Но, мэм, это же совсем как у Плутарха. Победитель въезжает в покоренную столицу. Как часто человеку выпадает случай увидеть подобное?

– Плутарх писал о героях. О благородных людях.

– Генерал Вашингтон сегодня выглядел героем.

– Хорош герой!

– А какой из себя генерал Вашингтон? – спрашивает Элизабет с некоторой опаской, побавиваясь матери.

– Он очень высокий, я таких высоких людей и не видал. Конь у него превосходный. А как генерал держался! Суровый, неприступный. Время от времени он приподнимал шляпу, приветствуя толпу, но ни разу не улыбнулся.

– Он не может улыбаться, – говорит мать, наслышанная об этом от кумушек, с которыми пьет кофе. – Ему вставные зубы не позволяют.

– Вставные зубы! – недоверчиво повторяет Элизабет. – О, *Moeder*⁷, ты точно знаешь?

– Это всем известно, – отвечает Анна, довольная, что придала беседе надлежащий лоялистский тон. – Они соединены пружинами, верхние и нижние, в глубине рта. Если он не будет плотно сжимать губы, челюсти разъедутся, и все увидят внутренность его рта, а этого ни один джентльмен никогда не показывает. Зубы у него такие же предательские, как его сердце.

– Он выглядел победителем, – говорит Роджер, надувшись. – Уж я-то знаю, мэм. Я там был.

– Меня он не победил, – говорит Анна.

– Он нас всех победил, и нам придется с этим смириться, – отвечает Роджер.

– Роджер, ты слишком взрослый, чтобы тебя выгоняли из-за стола. Пойми, что я больше не желаю слушать, как ты восхищаешься мистером Вашингтоном.

– Я им не восхищаюсь. Я смотрю в лицо фактам.

⁷ Матушка (нидерл.).

(12)

Некоторые люди умеют быстро взглянуть в лицо фактам, некоторым это дается не сразу. Анна знает, что сотни лоялистов уже перебрались на север в Канаду, или в британские колонии на северо-восточном побережье, или на острова в теплом Карибском море. Анна флегматична, даже упряма: ее упрямство порождено богатством. Но она не глупа и внимательно слушает последнюю проповедь достопочтенного Кифы Уиллоуби, обращенную к пастве в церкви Святой Троицы.

На этот раз он вдохновлялся стихом из 137-го псалма⁸:

– «Како воспоем песнь Господню на земли чуждей?» Ибо не чужда ли нам отныне сия земля? Песни, знакомые нам, песни верности нашей родине и благодарности ей больше не звучат здесь. Разве не видели мы, как отступали из Нью-Йорка британские войска? Они маршировали с высоко поднятой головой, ровными рядами. А что за мелодию играл оркестр, когда они шли к ожидающим их кораблям? Не была ли то песня «Мир перевернулся»? Возлюбленные братья и сестры, эти слова как нельзя более подходят к нашему нынешнему душевному состоянию. Разве не оказались они чистейшей правдой? Когда-то это была всего лишь веселая песенка, но в сей день она стала мрачным комментарием к нынешним и будущим временам.

И так далее и тому подобное. Но вкратце проповедь сводилась к тому, что достопочтенному Кифе намекнули: его амвонная риторика более не популярна в городе, ставшем столицей Соединенных Штатов, и ему следует признать победу американцев. Не все прихожане разделяли его чувства, ибо некоторые из них склонялись на сторону мятежников, а иные считали, что благоразумно смириться с фактами – лучшая стратегия в городе, где они родились и где надеялись прожить всю жизнь. Конечно, среди них попадались и лоялисты, но у сих последних было неспокойно на душе. Им били окна, на их стенах малевали грубые послания. Но достопочтенный Кифа был не из тех, кто признает поражение. Он услышал зов; сей зов донесся из северного города Галифакса, где британская власть до сих пор незыблема. Туда и намерен направиться достопочтенный Кифа, чтобы воспеть от песней Сионских на более благоприятной почве. Разве не изменит он своим принципам, отказавшись последовать такому зову? Разве хоть кто-либо из его прихожан может вообразить себе подобное? Итак, достопочтенный Кифа собрал пожитки и вместе с женой и детьми (коих именовал исключительно своими оливковыми ветвями) намеревался вскоре взойти на корабль, после чего прихожане Святой Троицы его больше никогда не увидят и не услышат. Проповедь была блистательная, кое-кто из слушателей рыдал. Однако некоторые другие, вероятно зараженные новым американским юмором, знали, что достопочтенный Кифа несколько месяцев плел интриги, организуя этот самый зов. Но они из вежливости прятали улыбки.

⁸ Псалом «На реках Вавилонских», соответствует псалму 136 в православной традиции.

(13)

Другие люди, получив такое же сообщение, воспринимали его менее охотно. Одной из них была Анна. На прошлой неделе у нее состоялся неприятный разговор с доктором Абрахамом Шенксом, директором школы, где учился Роджер.

– Миссис Гейдж, вы не думали о том, что Роджеру уже почти пятнадцать лет и что ему, вероятно, пора выйти в большой мир в поисках карьеры и фортуны? – спросил доктор Шенкс, рассыпаясь в улыбках.

Анна ничего подобного не думала. Она считала, что Роджеру следует провести в школе еще как минимум год, после чего он начнет стремиться к поступлению в Гарвардский колледж, имея в виду подготовить себя к профессии юриста.

– Тогда, миссис Гейдж, я буду с вами откровенен. Мы живем в бурные времена, и у меня в школе учится много сыновей британских офицеров. Я должен с прискорбием констатировать, что они нарушают мирную обстановку школы, будучи источником резких слов и порой даже открытых стычек. Мальчики, чьи родители поддерживают новое правительство, весьма терпеливы. О, они проявляют удивительное терпение, но вы, конечно, знаете, что мальчики по природе своей невыдержанны, и подобные инциденты не способствуют созданию атмосферы, благоприятной для усвоения знаний, кою я обязан пестовать. *Absit invidia*, мадам, как вы, конечно, понимаете, и не в упрек Роджеру *ad personam*, но *amor* к бывшей *patriae* должна подчиняться *tempus edax rerum*. *Ultima ratio regum* принадлежит нашему новому правительству, а я лично руководствуюсь принципом *maxim volenti non fit injuria*. Поэтому я должен, хоть и с величайшей неохотой, уверяю вас, настоять на том, чтобы Роджер больше не учился у нас. *Salus populi suprema est lex*, и каковы бы ни были мои личные чувства, я обязан думать о благе своей школы. Итак, мадам?

Ошарашенная латынью, Анна удалилась, очень сердитая на директора. Роджер больше не ходил в школу.

(14)

Анна в конторе у своего управляющего делами. Это уже не старый Клаас ван Сомерен, а его преемник, Дидрик Поттер. Большого флегматичного человека сменил маленький и нервный.

– Но ведь арендная плата за имения в Гринбуше собирается исправно? Там нет задержек?

– О, никоим образом, мадам. Арендаторы платят пунктуально. Все платежи в целости и сохранности. Но, как я уже сказал, сейчас вы не можете их получить.

– Потому что новое правительство наложило на них нечто вроде ареста. Разве оно имеет право так поступить?

– Это не совсем арест. Деньги в безопасности, но прежде, чем они попадут к нам в руки, должны быть сделаны некие распоряжения.

– Но мне казалось, вы утверждали, что эти деньги уже лежат в вашем хранилище.

– О да, воистину так, осязаемая субстанция этих денег находится в наших сейфах, но духом, если можно так выразиться, они для нас недоступны. Они депонированы условно.

– Что значит депонированы условно?

– Это юридический термин, означающий, что деньги, хотя и находятся у нас, не станут доступны вам, пока не будет выполнено некое условие.

– Да, но какое условие?

– Выражаясь по-простому, миссис Гейдж, – пока нынешнее правительство, новое правительство суверенного штата Нью-Йорк, не определит сумму убытков, причитающуюся к выплате штату и его гражданам со стороны британцев, которые на длительный срок оккупировали столицу штата и которых можно привлечь к ответственности за ущерб, нанесенный во время осады и освобождения города.

– То есть я должна платить репарации, потому что британцы проиграли войну? Кто это сказал?

Слезы навернулись на глаза маленького человечка.

– О мадам, если бы только я мог ответить на этот вопрос! Но вам не приходилось иметь дело с правительством, где существуют лишь передаточные инстанции, интерпретирующие слова некоего человека или группы людей, которых никто никогда не видит и существование которых овеяно тайной. Сотрудники Федерал-Холла, с которыми я разговариваю, так вежливы, с такой готовностью слушают мои рассказы о несправедливости, но так упорно отвечают, что это не их решение, но решение вновь образованного правительства, а их единственная обязанность – следить за тем, чтобы законы исполнялись неукоснительно. А когда я выражаю желание увидеть соответствующие правовые акты, мне отвечают, что они еще не окончательно сформулированы, но тем не менее имеют силу закона. О мадам, нужно ли говорить, что эти люди все до единого виги, а мы – тори, и они держат нас под прицелом? Когда в городской думе спустили флаг, разве не подняли взамен флаг Каина? Они так живо разглагольствуют о «естественной справедливости», которая позволяет им грабить побежденных. Ибо мы побеждены и должны склониться. Когда с ратуши сбивали королевский герб, скажу вам без стыда, миссис Гейдж, я рыдал! То были наши гарантии порядка и справедливости, а что мы имеем сейчас? Кучку вигов! Вспомните, что говорил мистер Уиллоуби в прошлое воскресенье!

И правда, об этом стоило вспомнить. Мистер Уиллоуби произнес гневную речь, направленную против Федерал-Холла, но не был до конца откровенен и умолчал, что новое правительство конфискует деньги лоялистов, чтобы заплатить собственные долги. Вместо этого он снова напомнил о восставшем Каине, а затем нашел утешение в Мильтоне и заявил, что

...черный волк о скрытых когтях

Походя пожирает их день за днем...⁹

Прихожане, знающие, что к чему – как, например, мистер Дидрик Поттер, – не сомневались, что он имеет в виду законников в Федерал-Холле, которые берут что хотят и ни перед кем не отчитываются.

– Значит, у вас нет уверенности, когда я получу свои деньги?

– О, миссис Гейдж, как бы мне хотелось дать иной ответ! Но я боюсь, что вы их никогда не получите. Я со дня на день жду вести, что фермы в Гринбуше конфискованы. У людей вроде нас с вами отбирают все до последнего гроша.

– Но это же ужасно несправедливо!

– Миссис Гейдж, простите, что я вам перечу, но когда речь идет о войне, наше понимание справедливости совершенно теряет силу. Совсем как в языческие времена, раздается клич: *Vae victis*, горе побежденным! Полагаю, следует радоваться, что нас не расстреляли и не обезглавили. Новое правительство возлагает все надежды на казну, а не на арсенал. Это очень современному, мне кажется.

– Значит, у меня ничего не осталось?

– О нет, миссис Гейдж, это не совсем так. С тех пор как вы вступили в наследство, вы никогда не тратили полностью свой годовой доход, и эти остаточные средства находятся в наших кладовых; мы не сочли нужным упоминать о них в разговорах со сборщиками налогов, ибо эти средства не являются ни доходом, ни пока что капиталом; это всего лишь... скажем так, мелочи, едва заслуживающие того, чтобы о них беспокоиться.

– Благодарю вас, мистер Поттер. А вы можете мне сказать, какую сумму составляют эти мелочи?

– Они составляют шестьсот сорок шесть гиней одиннадцать шиллингов и девять пенсов, миссис Гейдж. Я счел за благо обратить эти деньги в золото.

– Я так и думала, что вы будете точны. А как же мне заполучить эти шестьсот сорок шесть гиней одиннадцать шиллингов и девять пенсов?

– Вы снимете с моей души большую тяжесть, если заберете их из наших хранилищ как можно скорее, ибо сборщики налогов требуют провести переучет, а если в нем обнаружатся неточности, нам всем придет *Vae victis*.

– Могу ли я забрать их с собой прямо сейчас?

– Лучше и придумать нельзя. Прикажите их приготовить. Это сделает верный человек в кратчайшие сроки.

И пока верный человек это делает, Анна и мистер Поттер весьма приятно проводят время, развлекая друг друга бранью в адрес вигов и победителей и уверяя друг друга, что «Мир перевернулся» – единственная песня, подходящая к современности.

Наконец верный человек стучит в дверь и входит с большим кожаным мешком. Кладет мешок на стол мистера Поттера и выходит, не говоря ни слова, но складки на мятых фалдах его фрака будто подмигивают. Анна пытается поднять мешок, но он оказывается не по размеру тяжелым. Мистер Поттер распоряжается, чтобы ее отвезли домой в экипаже, и отправляет с ней верного человека – таскать коварный мешок.

Мистер Поттер не считает нужным попросить расписку взамен мешка. Избыток внимания к мелочам может быть так же опасен, как и недостаток.

⁹ Джон Мильтон. Ликид (перев. М. Гаспарова).

(15)

В этот вечер за ужином в доме на Джон-стрит царит возбуждение; манеры, привитые в танцевальной школе, и родительские наставления отчасти забыты.

– Ура! – кричит Роджер. – Когда мы выдвигаемся?

– Не раньше весны. Скоро Рождество, а мы будем готовиться к поездке до самой Пасхи. Потому что мы не убегаем, дорогие мои. Мы совершаем запланированное путешествие. Собираемся навестить вашего дядю Гуса в Канаде. Нам нужно выбрать, что мы возьмем с собой, и подготовиться к трудностям. Но мы должны продумать и припасти все, что можно, и помните: никому ни слова.

– Но ведь люди уезжают все время, мэм. Бертрамы на прошлой неделе уехали на Ямайку, и притом с кучей вещей.

– Да, и когда их корабль высадил лоцмана в гавани, американские таможенники забрали все до последнего сундука и узла, так что Бертрамы прибудут на Ямайку в чем были.

– Преподобный Уиллоуби уехал, и его никто не беспокоил.

– Нам это неизвестно доподлинно. Выйти из гавани – совсем не то же самое, что прибыть со всеми пожитками. Мы не знаем – возможно, его обообрали еще до приезда в Галифакс.

– Хотел бы я это видеть.

– Роджер! Чтобы я больше ничего подобного не слышала!

– А слуги знают? – спрашивает Элизабет.

– Я им сама скажу во благовремени, но они с нами не едут.

– Даже Эммелина? – Элизабет явно очень огорчена.

– В Канаде неподходящий климат для чернокожих, – отвечает Анна. – А Джеймс почти калека, он будет обузой в пути.

– Обузой в пути, – задумчиво повторяет Элизабет. – Так что, некому будет готовить наши постели ко сну?

– Какие постели? – спрашивает Роджер. – Ты думаешь, у нас в путешествии будут постели? Ну и простофиля!

– Роджер, не разговаривай так с сестрой.

– Но если она глупая! Нас ожидают приключения. В приключениях не бывает постелей. И еще, Лиззи, тебе лучше одеться в мою одежду.

– Ох, Роджер! Это еще зачем?

– Чтобы защитить вашу добродетель, барышня, – отвечает Роджер. – В лесу будут попадаться индейцы, виги и бог знает кто еще. И волосы тебе лучше остричь.

Элизабет начинает визжать.

– Роджер, каким ты себе воображаешь наше путешествие? – спрашивает Анна.

– Мы совершаем побег! Мы бежим! *Abiit, excessit, evasit, erupit!* – Роджер уже кричит, движимый духом приключений и мужской склонностью к употреблению латыни, хоть и в чрезвычайных неподходящих к случаю числе и роде.

– Если мы будем путешествовать с таким настроением, то и до Дьяволова Ручья не доберемся, – говорит Анна. – Нет, Роджер, нет. Все должно выглядеть по возможности чинно и обыденно. Я все продумала. Мы не можем поехать в фургоне. На сухом пути слишком много застав и любопытных глаз. Нам придется путешествовать по воде.

– Ура! Я буду грести!

– Нет. Грести буду я.

– А вы, мэм, хоть раз держали в руках весло? – с густым сарказмом спрашивает Роджер.

– Нет, но я не считаю, что это ниже моего достоинства.

– Хвала Господу за то, что хотя бы я умею грести.

– Ты тоже можешь грести. Ты крепкий мальчик. Точнее, уже крепкий молодой человек. Роджер смягчается:

– Ну что ж, я возьму пистолеты.

Он давно заглядывается на пистолеты отца.

– Думаю, что пистолеты лучше взять мне и очень хорошо их спрятать, – говорит Анна. Элизабет тем временем думает, и похоже, что мысли у нее нерадостные.

– *Moeder*, ты говорила про обузу в пути, – произносит она упавшим голосом. – А ты подумала про Ханну?

– Да, Элизабет. Ханна будет твоей заботой.

Элизабет разражается слезами.

(16)

Ханна и впрямь станет заботой. Ей, бедняжке, еще нет одиннадцати, но ее ужасно мучают зубы. Она может есть только мягчайшую пищу; ее пока не сажают за стол со взрослыми – из-за неаппетитной привычки жевать мясо, пока она не высосет из него все соки, а потом выкладывать непроглоченные серые комья на край тарелки. Оттого что Ханна так мало ест, она плохо растет; она выглядит как шестилетний, и притом худосочный, ребенок. Из-за всего этого у нее уже заметно искривлен позвоночник, но Анна не позволяет называть искривление горбом. Анна уверена, что дочь выправится, как только ее избавят от доставляющих страдания зубов, но когда это произойдет? Зубные врачи в Нью-Йорке редки, но Ханну сводили к одному из них; лечение состояло в том, что врач при помощи инструмента, именуемого «пеликан», высверлил несколько ее молочных зубов, чтобы дать дорогу растущим постоянным. Ханна все это время визжала с громкостью, удивительной для такого крохотного существа. Она – живая, ходячая зубная боль, и похоже, помочь ей нечем. Кроме зубов – и, вероятно, из-за них, – она страдает, как выразился врач, катаром ушей, и из-под повязок, которые преданная Эмелина меняет каждый день, течет мерзкая желтая жижа. Судя по всему, Ханну ожидает глухота; Анне уже трудно любить такого ребенка. У Элизабет доброе сердце, и она жалеет сестру, но Ханна не откликается на жалость. Она полна злобы; она дергает Элизабет за красивые каштановые кудри и визжит, протестуя против судьбы, заточившей ее в маленьком некрасивом теле, исполненном боли.

Роджер зовет ее мелкой врединой, и Элизабет сердится на него за это, хотя во всем остальном боготворит своего отважного, здорового, красивого брата.

Она не сомневается, что Ханна станет ее заботой и обузой.

(17)

Следующая сцена в чинной, элегантной гостиной дома на Джон-стрит кажется такой нелепой, что я задаюсь вопросом: уж не решил ли режиссер этого фильма, кто бы он ни был, надо мной поиздеваться. Ибо я все еще воспринимаю это как фильм. Что мне остается делать?

Я вижу, как Анна, женщина с безупречными манерами, стоит на коленях в кресле; в руках у нее деревянное весло, которым она бьет направо и налево по воображаемой воде.

– Нет, мэм, нет! Сначала удар, длинный и ничем не стесненный, а в конце – поворот в виде крючка. Но не слишком резкий! Так вы вгоните лодку в берег! Давайте я покажу еще раз. Смотрите... вот так... длинный легкий взмах, и не слишком быстрый, а потом крючок – когда вы уже размахнулись настолько, насколько можете. Еще раз. Уже лучше, но пока не идеально. Еще раз.

Роджер учит мать грести в каноэ. Как часто бывает с мальчиками, получившими власть над взрослым, он склонен к тирании. Анна пыхтит от непривычных усилий, скрюченные ноги немеют. Но Роджер уверяет, что стоять на коленях необходимо; сидеть в каноэ негде; ей придется стоять так часами, часами, и нет иного выхода, кроме как привыкнуть к этой позе, к усилию и к тому, что Анне кажется унижением.

Элизабет тем временем лежит животом на табуретке так, что все остальное тело на весу. Она дрыгает руками и ногами, подобно гальванизируемой лягушке.

– Ох, Роджер! Ну пожалуйста! Я больше не могу!

– Надо, барышня.

– Я сейчас упаду в обморок! Я знаю, что упаду!

– Лиззи, если ты упадешь в обморок в воде, то утонешь. И Ханна утонет. А теперь слушай внимательно: если каноэ перевернется, ты должна схватить Ханну за волосы, сбросить башмаки и плыть к берегу. И смотри, держи голову Ханны над водой.

– Но вода попадет мне в рот. И она будет грязная.

– Вполне возможно. Но ты дочь солдата, как мама повторяет ежедневно. Ты должна быть храброй и решительной и спасти Ханну.

– Ох, Роджер! Ты думаешь, мы перевернемся?

– Очень возможно. Каноэ – капризная штука.

– Я никогда не научусь!

– Либо научишься, либо утонешь. Если течение будет очень быстрое, тебе лучше всего уцепиться за каноэ, и я спасу тебя... после того, как спасу маму. И Ханну, конечно. Хотя пока я буду их спасать, каноэ далеко унесет течением, так что не жди чудес.

– Я утону!

– Не утонешь, если научишься плавать. Ты должна укреплять мышцы. Такая большая, сильная девочка! Как вам не стыдно, барышня!

Слезы Элизабет. Упреки Анны. Но обе они – женщины своего времени и привыкли в подобных делах подчиняться мужской власти. Каждый вечер гостиная превращается в спортзал, а Роджер – в строгого тренера. Он страшно наслаждается этим, так как его тиранство служит несомненно важному делу.

Однако радости выпадают не только Роджеру. Дом Гейджей пока избежал налета мародеров, грабящих все лоялистские дома подряд. Федеральные власти выражают сожаление, но отговорка у них каждый раз одна и та же: ночная стража малочисленна, перегружена работой и не может присутствовать везде одновременно; бессмысленно даже требовать, чтобы на Джон-стрит поставили часовых. Похоже, власти не горят особым желанием защищать дома тори. Здесь Анне и удастся проявить себя.

Она еженедельно посылает слуг со свертками серебра в лавки не слишком щепетильных ювелиров, готовых покупать ценные вещи – вероятно, плоды мародерства, но ювелиры об этом не допытываются. Однако слуги торгуются не слишком умело, и вот Анна, позаимствовав одежду своих служанок и не напудрив волосы, сама отправляется в ювелирные лавки – подальше от Джон-стрит, – и сама продает свои вещи. Дочь Пауля Вермёлена открывает в себе неожиданную жадность и торгуется до упора. Она говорит на английском с сильным голландским акцентом и сходит за простолюдинку – как раз такую, какие сейчас занимаются грабежами. Выручив за вещь хорошие деньги, Анна испытывает восторг скряги. Она даже смеется вместе с купцами, говорит гадости про лоялистов и наслаждается этим притворством. Она твердо решила выжить, и выжить не с пустыми руками; если каноэ перевернется, она утонет богатой.

Она мастерит нижнюю юбку со множеством карманов, куда собирается сложить свои гинеи, шиллинги и даже, если понадобится, пенсы. Она тренируется ходить в этой юбке, распределив многофунтовый вес как можно более равномерно. Анна, прилежная в вере, всегда знала, что отчаяние – смертный грех. Но теперь она знает, что оно к тому же еще и роскошь. Она видела, как ее друзья-лоялисты – не такие решительные, как она сама, – отправляются в путь на чужбину, оплакивая свои несчастья, но и пальцем не шевельнув в практическом плане, чтобы эти несчастья как-то смягчить. Анна не желает иметь ничего общего с отчаянием. Каждый вечер она молится о благополучном окончании предстоящего путешествия, но знает: Господь помогает тем, кто помогает сам себе. Анна не подведет Господа и сделает все возможное для себя и своих детей. Ее красивый дом становится все голее по мере того, как уходит серебро, парчовые занавеси и прочее, что можно обратить в деньги. Анна видит это, но не падает духом. Она полна решимости. Она продала бы и мебель, но если мебель начнут вывозить из дома, это неизбежно привлечет внимание. Мебелью – даже самыми дорогими предметами – придется пожертвовать. Анна возьмет с собой лишь портрет Георга III, который теперь кажется ей талисманом. Но его придется вытащить из рамы и закатать в тюк с одеждой.

И вот по мере приближения Пасхи и дня великого побега Анна сводит все, что может забрать в британскую Северную Америку, к тюкам, весящим в общей сложности около ста пятидесяти фунтов. Роджер уверяет ее, что каноэ выдержит такой груз.

(18)

Каное! Они впервые видят его утром пасхального воскресенья, в робких лучах зари. Роджер, конечно, видел его и раньше. Он много недель искал, торговался, болтал с рыбаками и метисами, которые разбираются в лодках. Он купил то, что показалось ему лучшим: каное с обшивкой из кедра, длиной около семнадцати футов. Он предпочел бы каное из бересты – это больше отвечало его новым представлениям о себе как об искателе приключений, – но его предупредили, что такие лодки не годятся для новичков и женщин и еще их обшивка легко дырявится и ее приходится постоянно латать, что требует умения. Роджер думает, что проявил большую хитрость: он всем говорил, что покупает каное для друга. Но люди на стапеле Берлинг в конце Джон-стрит не дураки и знают, что Гейджи намерены унести ноги. Однако убежденным американцам плевать: чем меньше лоялистов останется в Нью-Йорке, тем лучше для всех. Некоторые из этих людей дружелюбны и дают советы.

И впрямь, когда Гейджи подходят к стапелю в сопровождении Джеймса, толкающего тачку с узлами, там оказываются два или три человека. Они возникают из темноты и молча помогают уложить груз в каное, поскольку ясно, что Роджер понятия не имеет, как это делается. Остается лишь отчалить.

Джеймс плачет. Анна думает, что он не хочет с ней расставаться, и это так, но не совсем в том смысле, в котором предполагает она. Он оплакивает себя. Как многие старые слуги, в хозяйском доме Джеймс стал практически ребенком; хозяин погиб, а теперь Джеймс теряет и мать. Что сулит ему будущее? Прислуживать в таверне, посыпать пол белым песком? Накануне вечером Анна собрала слуг в ныне ободранной гостиной, чтобы помолиться вместе, попросить молитв у Эмmeliны и Хлои (которые их чистосердечно обещают) и вручить слугам кошельки с деньгами – по двадцать гиней каждому. Это очень щедрое благодеяние, и слуги лишаются дара речи, но Анна твердо решила не поскучиться. Сейчас Джеймс целует ей руку, чего он никогда в своей жизни не делал, и пытается помочь просто одетой женщине, неуверительному мальчику – Элизабет в штанах – и маленькой девочке сесть в каное.

Хоть Анна и приложила много трудов, обучаясь гребле в гостиной, она никогда в жизни не сидела в каное и кое-как, неловко занимает место на носу. Стоять на коленях непросто, мешает четвертая юбка – очень тяжелая: в ней сложено золото, на вес фунтов двадцать пять, ибо первоначальные шестьсот гиней теперь превратились почти в девятьсот, и каное опасно качается. Если бы мужчины не удержали его, Анна оказалась бы в воде. Она опирается ягодицами на носовую банку. Теперь нужно каким-то образом посадить в каное боязливую Ханну. Ханна визжит; Роджер сердито велит ей прекратить шум. Элизабет тоже должна сесть в каное; она легче матери, но не такая смелая, и у нее выходит очень неуклюже, но, по крайней мере, она заманивает в лодку и Ханну. Роджер ступает на корму легко и умело, поскольку тренировался неделями. Мужчины вручают ему и Анне весла с квадратными лопастями – так называемые весла вояжера. Остается лишь выйти на Ист-Ривер. Кажется, что вода слишком высоко захлестывает планшир. Роджер дает сигнал; мужчины, которые до этого не произнесли ни слова, издают приглушенный приветственный крик, и Гейджи отправляются в Канаду.

Неужели мне придется быть свидетелем их мучительного путешествия на протяжении... бог знает какого срока? Они продвигаются настолько неуклюже, что это зрелище вызывает жалость; будет настоящим чудом, если они продержатся на воде хоть сотню ярдов. Но режиссер, кто бы он ни был, пожалел меня; камера дает наплыв, и вот лодка Гейджей уже на реке Гудзон; они идут по маршруту. Анна гребет заметно лучше, а Роджер подучился править рулем.

Они плывут себе и плывут, и я могу судить, сколько времени они уже в пути, по изменяющейся листве деревьев и яркости солнца. Они минуют верфь Поллока, порт Олбани и док

Райнлендера и ползут, прижимаясь к берегу, насколько возможно, потому что великая река в этом месте полторы мили шириной и они вынуждены грести против течения. Им придется идти вверх по Гудзону около ста пятидесяти миль. Но каноэ движется быстрее, чем они ожидали; Анна становится умелым гребцом, а Элизабет и Ханна уже знают, что им нельзя шевелиться – вообще, ни на дюйм. У всех теперь легче на душе, и через несколько дней сердца наполняются духом искателей приключений, хотя женщины все еще боятся. Но разве бывают безопасные приключения?

(19)

Если бы меня попросили описать это путешествие – при жизни, когда я баловался беллетристикой в надежде перейти из газетчиков в литераторы, – я обязательно прибег бы к романтическим штампам. Во время очередной остановки на ночлег Элизабет забрела бы слишком далеко вглубь суши и попалась бы шайке негодяев, которые издевались бы над ней и угрожали бы изнасиловать, но Роджер, вооруженный пистолетами майора, спас бы ее в последний момент. Путешественники обязательно наткнулись бы на племя индейцев – пугающих фигур с раскрашенными лицами. И разве я мог бы обойтись без квакеров с их старомодной речью, не упускающих своего интереса при размене золотой гиней? И конечно, я вставил бы встречу с труппой бродячих актеров, которые оживили бы вечер у костра избранными пассажирами из популярных пьес того времени.

Меня звать Норвал. В Грампанских горах
Отец, прижимистый пастух, пасет свои стада.
Его стремления просты: припасов сделать больше,
И сына своего (я у него один) не выпустить из дома.

Возможно, одна из актрис посвятила бы девственного Роджера в радости плоти; такие сцены всегда пользуются успехом у похотливых читателей. Конечно, Анну ограбили бы, лишив ее почти всех или даже всех золотых монет.

Но я смотрю фильм и вижу, что путешествие было совсем не таким. Менее романтичным, но не менее трудным. Несколько раз путники останавливались в тавернах приречных поселений, но вскоре отказались от этого, поскольку там было чудовищно грязно, еда отвратительна, а постели кишели клопами. Теперь Гейджи просили у фермеров позволения переночевать в стогу; фермеры обычно позволяли, но без особого радушия. В стогах не было клопов, но водились блохи. Путники провели на суше целый день, раздевшись донага (Роджера отогнали подальше, чтобы не осквернить его взор зрелищем обнаженной женской плоти), ища насекомых в одежде и окуривая ее над горшком горячей серы, купленной у фермерши, которая в придачу дала им мешочки с блоховником, чтобы впредь отпугивать паразитов. Путники покупали еду у фермеров – простую, но не тошнотворную. Они редко сталкивались с откровенной грубостью – большинству фермеров было плевать, что тори бегут из новой страны. Попадались и сочувствующие, которые сами не собирались бежать, но охотно помогали беглецам-тори. Анна обнаружила, что деньги отлично смягчают нравы и утихомиривают даже пламенного янки-дудля, который груб ровно до того момента, как видит монету, пробует ее на зуб и понимает, что она настоящая. Гейджи не были нищими, хотя к концу путешествия выглядели почти как нищие.

Никто из них не привык к постоянному физическому труду, и скоро стало ясно, что они не могут путешествовать от рассвета до заката. В полдень им нужно было отдыхать; нужно было приготовить или купить еду. Анна привыкла каждый день выпивать порцию вина; теперь ей приходилось довольствоваться ромом, и Роджер потребовал, чтобы ему тоже давали ром, и пил слишком много, пока мать не начала его ограничивать – после того, как он чуть не перевернул каноэ. Они мылись так часто, как могли, но этого было недостаточно, и они стали походить на цыган, загорелых и чумазых. От них не очень сильно пахло, потому что они все время находились на открытом воздухе. Но их донимал зуд, и, к отчаянию Анны, они чесались.

Они не привлекали к себе нежеланного внимания – всего лишь одна лодка среди многих. Им встречались каноэ более смелой конструкции – они высывали из волн то нос, то корму, будто плясали на воде. Кругом кишели плоскодонки, ялики и другие суденышки, кото-

рым трудно было бы подобрать название. Попадались и парусники, они тянули за собой лихтеры. Ближе к крупным поселениям на реке становилось тесно от грузовых судов. Время от времени вниз по течению, по самой стремнине, величественно проплывал плот. На каждом плоту стояла палатка, в которой отдыхали плотогоны, когда не возились с длинными веслами, заменявшими руль. Обычно рядом с палаткой горел небольшой костерок для приготовления нехитрой пищи. Река Гудзон была лучшим и самым удобным путем из конца в конец большого штата, и каноэ терялось в оживленном потоке, хоть им и правили два неумелых гребца. Но они все же продвигались вперед. После первых неудач с постоянными дворами путники каждый вечер отыскивали ручеек, впадающий в реку, и разбивали лагерь (если к их кратковременному привалу подходит такое пышное слово) в укромном месте.

Во время привала им не всегда удавалось избежать нежеланного внимания. Однажды им пришлось остановиться на пять дней – Анну покусали какие-то насекомые, а может, еще что-то случилось, но у нее начался жар, и они не могли двигаться дальше. Лекарств у них с собой не было, за исключением того, что предназначалось для Ханны, и Анна отказалась принимать лауданум, хоть Роджер и считал его средством от всего. Какая-то женщина – явно умалишенная – назвалась Табитой Дринкер и предложила путникам приют у себя в хижине, но там оказалось невыносимо грязно, и путникам пришлось отделяться от ее гостеприимства под градом ругани. Эти тори вечно задирают нос! Брезгуют обиталищем достойной христианки! Но в целом их путешествие проходило без препон.

Чем дальше они продвигались на север, тем меньше неприязни к тори выказывали местные жители. Революция – городской цветок, она не растет в глубинке. Так что Гейджи путешествовали в крайне примитивных условиях, но, по крайней мере, не испытывали нападков.

Их продвижение замедляли и другие непредвиденные вмешательства природы. Через четыре недели пути у четырнадцатилетней Элизабет начались месячные. Она понятия не имела, что происходит: ни мать, ни Эммелина не подумали ее просветить. Впрочем, по тогдашним временам предполагалось, что девочке до этого события еще года два. Возможно, уроки плавания в гостинной подтолкнули ее созревание, или же так проявился глубинный протест ее тела против мальчишеской одежды. Элизабет была в ужасе и неудержимо рыдала. Наконец Анна выяснила, в чем дело, и пришлось пристать к берегу, чтобы сделать все нужное. Анна отдала дочери одну из пеленок – жутко неудобных приспособлений, – прихваченных для себя. Роджер – разумеется, не посвященный в происходящее – дулся; он окончательно утвердился во мнении, что от женщин одни только неприятности. Когда Анна со старшей дочерью секретничали, на манер того времени, Роджеру казалось, что его не допускают к чему-то важному. С Элизабет, опять-таки на манер того времени, несколько дней обращались как с инвалидом и не требовали, чтобы она вычерпывала воду из каноэ (которая все время скапливалась на дне из-за неумелой гребли Анны).

Это событие замедлило путников больше ожидаемого, так как каждый месяц один раз Анне и один раз Элизабет приходилось удаляться от прочих, чтобы тайно постирать предметы туалета, о которых Роджеру не положено было знать. Можно было продолжать путь, лишь когда высыхали пеленки, развешанные по кустам на солнцепеке (если было солнце).

Ханна чувствовала, что мать и сестра что-то от нее скрывают, и стала еще невыносимей. Она много ревела. Она ревела, а не плакала – громко выла, а не безмолвно роняла слезы. У нее болели зубы, болели уши, ее тошнило от качки, и все обязательно должны были знать, что ей плохо, – таким образом она становилась в каком-то смысле главной персоной на борту. Она в полной мере обладала чувством собственной важности, свойственным хронически больным.

Поэтому ей часто давали лауданум, а так как его надо было разводить, приходилось кипятить воду. Путники спокойно пили из Гудзона – по обычным меркам это была чистая, быстрая река. Но аптекарь велел разводить лауданум в чашке кипяченой воды, и его приказ выпол-

нялся; приходилось собирать хворост, разводить костерок и кипятить воду в небольшом – самом маленьком, какой нашелся, – котелке, чтобы утолить муки Ханны.

Я знаю, что лауданум использовался для самых различных болей, вплоть до разбитого сердца и меланхолии, примерно триста лет. Он представлял собой обычный раствор опия, иногда с добавлением менее сильных снадобий, и настоящий потребитель лауданума поглощал его в огромных объемах, которые убили бы любого непривычного человека. От зубной боли не было лучше средства, и Ханна уже прошла полпути к превращению в наркоманку, или, как тогда это называли, поедательницу опиума. Но что делать? Выбор был между лауданумом и невыносимыми муками, и потому ей давали лауданум.

Вероятно, самый известный из потребителей лауданума – Кольридж. О влиянии наркотика на его творчество написано множество замечательных исследований. Но кажется, никто не изучал влияние этого снадобья на пищеварение поэта – а ведь лауданум, как ничто другое, способствовал запорам. В какой степени «Старый моряк» – продукт непроходимости кишечника?

Из-за лауданума кишечник Ханны закупорился наглухо, но в восемнадцатом веке запор считался неотъемлемым атрибутом женщины, а потому на это никто не обращал внимания. Другая выделительная функция, впрочем, была у нее в полном порядке и неуклонно предъявляла требования. Слишком часто (по мнению Роджера) приходилось приставать к берегу, чтобы Ханну отвели в кусты помочиться. Но если Роджер протестовал, Ханна рыдала, и Элизабет ругала брата за то, что довел младшую сестру до слез.

– Побольше поплачет, поменьше пописает, – бурчал Роджер, и Элизабет приходила в отчаяние от его грубости и жестокости.

Все это не слишком походило на приключения, как их описывают в книгах. Зато дух приключений пробуждала книга «Путь паломника». Анна взяла с собой три книги. Конечно, Библию и англиканский молитвенник. А также – великую повесть Джона Беньяна о пути к спасению души. И каждый вечер, если хватало света, Анна читала вслух. Молодые люди уже хорошо знали эту книгу, но она им не надоедала, ибо Беньян подсластил наставления превосходными описаниями характеров. Роджер и Элизабет (и даже Ханна, когда не спала и не маялась зубами) развлекались, выискивая во встречах сходство с теми, кто попадался на пути Христиану. Мирской Мудрец был абсолютно повсюду. Сговорчивый тоже. Уповающей, конечно, была сама Анна. Роджер, не страдавший избытком скромности, не мог решить, кто он – Великая-Душа или Сражающийся-за-Истину. Он утверждал, что Элизабет – Болтун, и тем огорчал ее, поскольку она хотела быть Христианой. Она считала (не без оснований), что Беньян в своей книге возмутительно мало места отводит женщинам. У Гейджей вышла неприятная стычка с пламенным сторонником нового режима; они решили, что он – Великан Отчаяние, ибо он безо всяких оснований грозился задержать их и сдать людям, коих именовал Властями; но так как поблизости не оказалось Властей, кои заинтересовались бы Гейджами, его козни потерпели крах. Что же до Топи Уныния, она встречалась им почти ежедневно, да и Долина Унижения попадалась все чаще по мере того, как путники становились грязней и подозрительней на вид. Но Анна, подбадривая склонных к унынию детей, твердила, что они с каждым днем все ближе к Небесному Граду, который, разумеется, лежит где-то в британской Северной Америке – надо только отыскать дядю Гуса. Сильнее всего путешественники пали духом, когда пробрались в Гринбуш, за несколько миль от берега, и обнаружили, что владения Вермёленов в самом деле конфискованы; бывшие арендаторы встретили бывшую помещицу враждебно. Приунывшие путники двинулись дальше, туда, где им надо было сворачивать на северо-запад, в реку Мохок.

(20)

Режиссер не заставил меня наблюдать за всеми многочисленными переволоками, но некоторые я видел. Роджер взваливал себе на плечо нос лодки, Анна – корму; Элизабет оставалась на месте – обихаживать младшую сестру и сторожить вещи, и Роджер с Анной возвращались за ними как можно скорее. Работа была очень тяжелая. Совсем не этого ожидал Роджер, предвкушая приключения. На Мохоче переволоков было больше, а самым трудным оказался тот, что вел из реки Мохок в ручей Вуд-Крик. Но это был явный переволок, а не просто порог длиной в милю или какое-то иное препятствие, которое Гейджи не могли пройти на каноэ и потому вынуждены были его нести; здесь нашлись носильщики, готовые дотащить каноэ и вещи до Крика, как они его называли. К изумлению Гейджей, носильщики, взяв груз, побежали, если не сказать поскакали, и путники даже испугались, не скроются ли помощники вместе с их имуществом. Нести Ханну на длинном переволоке было нелегкой работой. Не то чтобы она была намного тяжелее тюка с вещами, но ее постоянные крики и жалобы изматывали. Анна уже начала бояться, что избыток лауданума хуже ушной и зубной боли и общей умственной отсталости. Но в конце концов путники достигли озера Онейда, вышли из него по реке Осуиго и наконец оказались в озере Онтарио, огромном внутреннем море, каких доселе не видывали.

Я страдал вместе с путниками, каждым биением сердца, но при этом замечал, что после Гудзона они путешествуют по дивно красивым местам. Река Мохок, протекающая к югу от гор, окружена потрясающими осенними пейзажами – ибо уже настала осень и листья начали желтеть и краснеть. Но путники этого не замечали; величие и торжественность природы внушали им лишь страх. Мне приходилось напоминать себе, что они – люди восемнадцатого века, со свойственными тому времени представлениями о пейзаже, и дикая красота не трогает их сердец. Еще не настала эпоха романтизма, когда необжитые края, горы с шапками облаков, девственные леса, утесы и речные долины были объявлены самыми прекрасными зрелищами, какие только может предоставить человеку природа. Нашим путникам, детям классицизма восемнадцатого века, природа в ее первозданном состоянии была ненавистна и страшна. Им не приходило в голову, что это, может быть, те самые Отрадные горы из книги Бенъяна.

Больше всего они, ложась спать на неудобных постелях из листьев и веток, опасались медведей; они составили расписание дежурств – Анна или Роджер стояли на часах, чтобы предупредить остальных, если зверь вдруг появится из кустов. Но что они могли бы сделать? Что такое пистолет против медведя?

Для Анны время, проведенное в пути, стало временем неизмеримого духовного роста, хотя ей было некогда обращать на это внимание или вглядываться в себя. Я бы назвал это психологическим ростом, но слова «психология» она точно не знала. Бог, которому она поклонялась, будучи состоятельной, хоть и не самой богатой, жительницей Нью-Йорка, перестал быть для нее благосклонной абстракцией, требующей и заслуживающей почитания, – чем-то вроде короля Георга III, но покрупней масштабом. Он стал грозным, но не злобным и не неприступным. Его необъятность и непостижимость теперь были явлены Анне, как ей и не снилось, когда она сидела на службах в церкви Святой Троицы или молилась в установленные часы у себя дома в гостиной. Она знала, что ничтожно мала пред оком Господа, но при этом каким-то образом ощущала, что Он смотрит на нее и взор Его не гневен. И на необъятной глади озера Онейда Анна с чудесной уверенностью ощутила, что по Господню замыслу о ней она победит в этой утомительной битве. Он в конце концов приведет ее... куда? Вероятно, в озеро Онтарио, а дальше предстоит долгий путь вдоль его южного берега.

Но не только Анна выросла духовно во время путешествия. Роджер стал мужчиной – то есть без колебаний понял и принял свое место и свою задачу в мире. Возможно, он стал не

лучшим из мужчин, но кто может об этом судить? Когда надо снимать осаду с города, или спасать пленную деву, или переносить тяготы, мы обращаемся к Роджерам мира сего и доверяемся их твердой устремленности к цели. Законотворцы, ученые, поэты – люди иной породы, но без Роджеров мы погибли бы.

Что же до Элизабет, тяжкая повинность ухода за Ханной сделала ее женщиной. Не деловой женщиной, строящей планы, как ее мать, но женщиной в ином смысле: кроткой, заботливой, нежной, готовой отдать себя – не полностью, но остановившись лишь за миг до полного поглощения – долгу и заботе о ближнем. Она одна подлинно сочувствовала Ханне. Для Анны болезненная дочь была обузой, долгом, предметом заботы, и Анна заботилась о ней, сколько нужно, но не любила. А вот Элизабет нашла в своем сердце любовь к сестре; и пусть эта любовь выражалась по-детски, но ведь страдающая Ханна и была ребенком, и ее нужно было пестовать как ребенка. Лауданум помогал лишь до определенной степени, и когда он переставал действовать, Элизабет очень крепко обнимала сестру и пела ей:

Джигу спляшем-ка, сестренка,
Пусть бабуля с поросенком
Тоже будет танцевать,
Кот на скрипоньке играть.

– Что такое скрипонька? – спрашивала Ханна опять и опять, хотя уже знала ответ.

– Это маленькая скрипочка, милая, как раз котика по размеру.

– Котик играет на скрипоньке, – сонно повторяла одурманенная Ханна. – Спой еще раз.

Сколько раз пела Элизабет про котика? В нашей компьютеризированной вселенной это число наверняка где-то зафиксировано. Его засчитают кроткой Элизабет, которая ни разу не подвела свою несчастную сестру.

(21)

Август Вермёлен сидит на *stoep*

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.